



ВЯЧЕСЛАВ НЕДОШИВИН

АДРЕСА ЛЮБВИ

МОСКВА, ПЕТЕРБУРГ, ПАРИЖ

Дома и домочадцы русской литературы



Литературные путеводители

Вячеслав Недошивин

**Адреса любви: Москва,
Петербург, Париж. Дома и
домочадцы русской литературы**

«Издательство АСТ»

2014

Недошивин В. М.

Адреса любви: Москва, Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской литературы / В. М. Недошивин — «Издательство АСТ», 2014 — (Литературные путеводители)

ISBN 978-5-17-084306-0

Вячеслав Недошивин – журналист, автор книги-путеводителя «Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург». В его новой книге «Адреса любви» – три места действия: Москва, Санкт-Петербург и Париж. Дома и домочадцы русской литературы неразрывно связаны. «Адреса любви» – не учебник по литературе, а уникальный путеводитель. «Здесь всё выстроено на документальной точности. Кто где жил, бывал, с кем спорил в знаменитых салонах, в кого влюблялся в поэтических кабачках – обо всем этом узнаешь, погружаясь в рассказы, объединившие историю, литературу, биографические загадки и – Географию Великой Поэзии...»

ISBN 978-5-17-084306-0

© Недошивин В. М., 2014

© Издательство АСТ, 2014

Содержание

Предисловие	5
«Черный Капитан», или Жизнь и смерть Дениса Давыдова	7
Ночной визит	10
Арифметика мужества	13
Этот русский... «армянин»	19
Два дома с одним номером...	21
«Звезда» последняя	25
«Моя жизнь — сражение!»	28
«Утраченный рай», или Роковой поединок Федора Тютчева	29
Человек-загадка	32
«Аллея Тютчева»	34
Любить — любовь...	38
«Лев» России	43
Утраченный «рай»	48
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Вячеслав Недошивин

Адреса любви: Москва, Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской литературы

Елене, дочери

Автор и издательство выражают глубокую благодарность Государственному Литературному музею, его директору Д.П.Баку, сотрудникам и лично Е.Д.Михайловой за помощь в подборе фотографий из фондов музея и любезное разрешение на использование их в данном издании

Предисловие

«За мной, читатель! – позвал нас за год до смерти великий Булгаков. – Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? За мной, и я покажу тебе такую любовь!..» Позвал и – умер, так и не узнав, что еще через год его верная «любовь» будет с другим, потом – с третьим мужчиной.

Кто-то скажет, это – жизнь. Кто-то сошлется на разность любви у мужчин и женщин, ведь говорила же Цветаева, что «женщины играют во всё, кроме любви, а мужчины – наоборот»; кто-то вообще пожмет плечами: любви нет, сказано же наукой, что она – лишь феромоны, игра гормонов. А кто-то, вчитываясь в книги великих, будет сам искать ответы, может, на главные вопросы: что есть жизнь, что есть любовь и смерть? И – почему именно поэты и писатели видят в них то, что неведомо, недопонято нами, простыми людьми?

Эта книга – о необычной любви, о том, как ее проживали самые талантливые и даже гениальные люди. Книга о жизни тех, кто сначала выстрадал, а затем и выразил в слове свои необычные чувства о самом, порой, «запретном» меж людьми, о том, о чем, по выражению поэта, и «говорить нельзя». О любви в жизни Зинаиды Гиппиус и Цветаевой, Брюсова и Блока, Ахматовой и Мандельштама, Хлебникова и Пастернака, Тютчева и Куприна, Бальмонта и Булгакова.

Очерки, эссе, новеллы о них Вячеслава Недошивина на протяжении трех последних лет публиковались в журнале “*STORY*”, чьим девизом являются слова: «Обыкновенные судьбы необыкновенных людей». Теперь, собранные под одной обложкой, эти рассказы-версии – перед вами. И ныне уже автор их, как и Булгаков, может подстегнуть вас великим кличем его: «За мной, читатель!» И за классиком вслед – добавить: «Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?..»

Как непрочтенные тома
В пронумерованном порядке,
Стоят на улице дома
И ждут прочтения и разгадки...

Вадим Шефнер

Многие поступки великих людей удивляют и возмущают нас, но биограф не имеет права отмахнуться от них: ему приходится брать героя, каким

его рисуют документы и свидетельства современников, и такое изображение оказывается хорошим уроком человечеству.

Андре Моруа

«Черный Капитан», или Жизнь и смерть Дениса Давыдова

*Я каюсь! Я гусар давно, всегда гусар,
И с проседью усов – всё раб молодой привычки.
Люблю разгульный шум, шумов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки.
От юности моей враг чопорных утех —
Мне душно на пирах без воли и распахки.
Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех,
И дым столбом от трубочной затяжки!..*

Денис Давыдов



Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) – поэт, писатель, гусар, генерал-лейтенант, партизан Отечественной войны 1812 года. Давыдов, друг Пушкина и декабристов, остался в истории русской литературы не только как автор военно-исторических работ и теоретических трудов о партизанской войне, но – главное! – как редкого таланта лирик, создавший новый тип героя – воина-патриота, человека деятельного, свободолюбивого, открытого.

Жребий был брошен. Лошади – любовь Дениса, – в седлах которых он сидел с пяти лет, с которыми за полвека провел больше дней, чем с самыми дорогими ему женщинами, чем с женой и детьми, друзьями и поэтами, – так вот, лошади на этот раз не спасли его. Он, якобинец и фрондер, франт и повеса, забияка и бретер, умрет отрезанным, запертым от мира, окруженным в глухом селе не французами, шведами или турками – паводком, непролазной грязью, непроезжими дорогами, непересекаемыми реками, всеми теми «не», которые еще вчера легко преодолевал и в России, и на Кавказе, и в разоренной Наполеоном Европе.

Пятьдесят пять лет. Умер от инсульта. Это случилось на рассвете в сызранском сельце. В Верхней Мазе – имении своей жены. Как умирал – неизвестно. Видимо, можно было спасти. Но жена Давыдова, мать его шестерых сыновей, сначала поскупилась гнать лошадей двадцать пять верст в распутицу за врачом, а потом, когда поэт умер, полтора месяца не давала их – берегла! – отвезти его уже в Москву на Новодевичье, к родовым могилам. Такие вот дела!..

Впрочем, он, чьим девизом была фраза Вольтера «Моя жизнь – сражение», и после смерти выиграет последний бой: постоит за Багратиона – за командира, генерала, героя 1812 года. История мистическая, почти детектив, я еще расскажу о ней. И, может, мы поймем тогда, почему его, корнета, потом поручика, штаб-ротмистра, полковника, генерал-майора, а затем и генерал-лейтенанта, называли всего лишь капитаном. «Черным Капитаном»...

Ночной визит

Это имя – «Черный Капитан» – одна из загадок его. Что это? Такого звания не было у гусар. Капитанов вообще не было в русской кавалерии. И почему – «черный»? Страшный? Таинственный? Или – промышлявший ночью, под покровом темноты? Ответ на этот вопрос знают ныне единицы даже среди исследователей. Это я проверял! И – убедился, в который раз уже: мы мало знаем поэта – не школьного, не хрестоматийного. И мало знаем о времени его – веселой эпохе серебряных шпор, звона ледяных бокалов, дымящихся чубуков, грохота стальных, почти игрушечных пушек и шепота флирта и с прекрасными тихонями, и со стихийными бунтарками света... Того уже света! Но ночь и впрямь всю жизнь была для Давыдова временем действия – не сна.

Именно глухой осенней ночью 1806 года в центре Петербурга, на углу Невского и нынешней улицы Восстания, едва не случилось, как сказали бы теперь, – «громкое» убийство. Не дуэль, не перестрелка. Просто наутро столица Российской империи наполнилась слухами: то ли какой-то поручик лейб-гвардии гусарского полка застрелил фельдмаршала русской армии графа Каменского, то ли Каменский, только что назначенный командовать армадой против Наполеона, пристрелил в темном коридоре гостиницы «Северная» какого-то молодого человека. Шептались: поручику двадцать два года, он был исключен из кавалергардов за стихи, был сослан в провинциальный полк, потом, по милости государя, вернулся в Петербург, вновь был взят в гвардию и... надо же, опять попал в историю. Слухи были и правдой, и – неправдой. Поручику и впрямь было двадцать два, и он – это точно! – был известен как дерзкий поэт, написавший несколько безумных стихов, в том числе – и в адрес царя. Но всё остальное тут – нет, извините.

Из воспоминаний Дениса Давыдова: *«Отчаяние решило меня: 16-го ноября, в четвертом часу пополуночи, я надел мундир, сел в дрожки и приехал прямо к фельдмаршалу... Всё спало на дворе и в гостинице. Номер 9-й, к которому вела крутая, тесная и едва освещенная лестница, находился в третьем этаже. У входа... маленький коридор, в коем теплился фонарь... Я завернулся в шинель и прислонился к стене в ожидании... Слышу, отворяется дверь, и маленький старичок, свежий и бодрый, является... в халате, с повязанною белой тряпичною головою и с незажженным в руке огарком. Это был фельдмаршал... Он озабоченно, хотя и бодро зашаркал в сторону отхожего места. Увидя меня... остановился. “Кто вы таковы? – спросил он. – Что вам надо?” Я объявил желание мое служить на войне. Он вспыхнул, начал ходить скорыми шагами взад и вперед... и почти в исступлении говорит: “Да что это за мученье! Всякий молокосос лезет проситься в армию! Замучили меня просьбами. Да кто вы таковы? Какой Давыдов?..” – “Сын Василия Денисовича... Полтавским легкоконным командовал”. – “Знавал твоего отца, – смягчился Каменский, – да и деда помню...”»*

Фельдмаршал Каменский вообще-то был крут. Он, например, только что приказал высечь арапником публично собственного сына, дослужившегося до полковника. Ужас! Да и Наполеона грозил привезти в клетке – «ровно Емельку Пугачева». Но к Давыдову, пострадавшему, что в дальнем гарнизоне он уже пропустил половину войны, отнесся почему-то более чем хорошо. «Право, – сказал мальчишке-поручику, – я думал, ты хочешь застрелить меня». Денис начал было извиняться, но граф перебил: «Напротив, это приятно, это я люблю, это значит ревность... горячая; тут душа, тут сердце...» И хоть фельдмаршал помочь ему не смог («По лицу государя, – признался потом Денису, – я увидел невозможность выпросить тебя туда, где тебе быть хотелось»), упрямый поручик всё равно окажется на фронте. Причем станет адъютантом самого Багратиона. Как? – спросите. Да времена были такие. И то, что порой не под силу было фельдмаршалам, легко достигалось хорошенькими женщинами. Давыдову поможет попасть на фронт «княгиня-полячка», черноокая Аспазия, как звали ее в свете, всесильная

фаворитка Александра I, а в миру – премиленькая двадцативосьмилетняя Маша Нарышкина, сестра друга Дениса, тоже гусара и к тому же князя – Бориса Четвертинского.

Она жила в доме, который и ныне стоит на Фонтанке (**С.-Петербург, наб. Фонтанки, 21**). Дом – это, конечно, слабо сказано. Дворец (где с утра до вечера толпились вельможи, послы, генералы), принадлежавший мужу Аспазии, обер-егермейстеру Нарышкину. «Храмом красоты» назовет его будущий тайный советник Филипп Вигель. Тот Вигель, который оставит нам «Записки» и который, кажется, не столько за архитектуру назвал этот дом «храмом», сколько из-за преклонения перед прелестью Маши Нарышкиной. В «Записках» выведет: «Разиня рот, стоял я... и преглупым образом дивился ее красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною... В Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех...» Так вот, эта Маша, которая через год родит царю дочь, сама, и не раз, разливала чай юному Денису; тот запросто заваливался в ее дворец с другом-гусаром. А узнав о ночном переполохе, о визите его к фельдмаршалу, шепнула ему, как бы укоряя: «Вы бы меня, меня избрали вашим адвокатом». И через несколько дней, когда он, уже при декабрьских свечах, обедал здесь, вдруг громко сказала брату, что тот едет на фронт. Четвертинский, кивнув на Давыдова, спросил сестру: «А он?» «Нет, – сникла Маша, – опять отказ...» Но, заметив, как побледнел Денис, крикнула: «Я хотела пошутить... Вы едете!»

Вот это был подарок к новому, 1807 году! Правда, узнав, что служить будет адъютантом Багратиона – предел мечтаний! – Денис, напротив, сник. Он ведь недавно в сатире «Сон» высмеял длинный багратионовский нос. Более того, знал – стихи эти известны генералу. Позже, на фронте, тот при Давыдове расскажет о них Ермолову, и наш пиит, оправдываясь, улыбнется: «При всех свидетельствую, что затронул столь известную часть вашего лица единственно из зависти, поскольку сам оной части почти не имею». И укажет на свой нос – пуговкой. Все посмеются. А через несколько дней, когда Денис прискачет к Багратиону со спешным донесением и, запыхавшись, крикнет: «Главкомандующий приказал доложить, что неприятель у нас на носу, и просит вас немедленно отступить!» – Багратион невозмутимо заметит: «На чьем носу неприятель? Ежели на вашем, так близко; а коли на моем, так мы успеем отобедать еще...» Эта шутка станет известна всей армии, а потом и вовсе превратится в анекдот; ее даже Пушкин внесет в свои «Застольные беседы»...

Впрочем, это будет еще. А тогда из дворца Нарышкиных Денис кинется к дому Гагарина, где жил Багратион (**С.-Петербург, Дворцовая наб., 10**). «Когда я приехал, – пишет, – кибитка была уже подвезена к его крыльцу...» Вот с этого дня он и будет пять лет при Багратионе, «близ стремя блистательного полководца». А с первого боя будет при нем в роскошной бурке, подаренной князем «с плеча». Вообще-то – с дурацкой драки, едва не ставшей для него последней. Его спасла трофейная лошадь, которую денщик его звал «хранцуженка», и – оловянная пуговица, плохо пришитая пуговица на шинели.

Из воспоминаний Дениса Давыдова: *«Я выпросился... в первую цепь, будто бы для наблюдения за движением неприятеля, но, собственно, для того, чтобы погарцевать на коне, пострелять из пистолетов, помахать саблею и – если представится случай – порубиться». Схватки не намечалось, лишь в отдалении приплясывал на коне какой-то француз. «Мне... захотелось... его... взять в плен. Я стал уговаривать казаков; но они только что не смеялись... Я как бешеный толкнул лошадь вперед, подкакал к офицеру довольно близко и выстрелил...» Француз выстрелом ответил, его товарищи стали палить из карабинов. «То были первые пули, которые просвистали мимо моих ушей... Твердо уверенный в удалстве моего коня и притом увлеченный вдруг злобой – бог знает за что! – на человека мне неизвестного... я подвинулся к нему ближе, замахал саблею и принялся ругать его на французском... Приглашал его... сразиться. Он... предлагал то же; но оба мы оставались на местах... В это... время подкакал ко мне казачий урядник и сказал: “Что вы ругаетесь!.. Грех! Сражение – святое дело”».*

Урядника этого он увидит вечером еще раз и таки уговорит его ударить по врагу. В воспаленной голове его даже родится мысль: а вдруг это маленькое наступление поддержит сначала полк, потом арьергард Багратиона, а потом – вернется для поддержки Дениса и вся русская армия? Словом, с гиканьем бросится отряд в сечу с французами, и, как напишет Денис, жаждавший «поэзии кровавого ремесла», сабля его впервые «поест живого мяса». А позже, возвращаясь в одиночку к Багратиону, вдруг столкнется в лощине с шестью всадниками противника, конноегерями, которые не только погонятся за ним, но почти сразу ранят его лошадь. «Гибель казалась неизбежной. На мне накинута была шинель, застегнутая у горла одною пуговицею, и сабля голая в руках... Один... догнал меня, но на такое расстояние, чтоб ухватиться за край... шинели, раздувавшейся от скока. Он... чуть не стащил меня с лошади. К счастью, шинель расстегнулась и осталась в его руках...»

На самом деле всё опять было и так, и – не так! Он ведь был выдумщик, фанфарон. Он и биографию свою написал в третьем лице и сначала уверял, что автор ее некий Ольшевский, а потом – что чуть ли не знаменитый Ермолов. Да, сам творил легенду о себе и – сам верил в нее. Так вот, тем вечером, когда он, мечтавший повести в бой армию, удирал от конноегерей, из леса вдруг вылетело двадцать казаков, которые бросились на французов. Не было бы их, Денис бы не спасся. И весь в крови и грязи не предстал бы перед Багратионом, не услышал бы его вечного «маладец!» и не получил бы с плеча князя взамен пропавшей шинели (и шинель, и пуговица – не выдумки!) роскошной бурки. Именно в ней будет участвовать в самом большом сражении со времен «изобретения пороха» – в битве за Прейсиш-Эйлау, города, у стен которого русские и французы только за день потеряют свыше 37 тысяч.

Вот это был бой! «Не приказываю, братцы, прошу, – скажет солдатам Багратион. – Окромя нас, некому. Надо соблюсти честь России. Не приказываю... Прощу!» От этих слов у Дениса подкатится к горлу комок. Там, под Прейсиш-Эйлау, когда Багратион, спешившись, поведет свои войска в пешем строю «в штыки», у Давыдова и появится его знаменитая седая челка. Наконец, там он подружится с казаком Матвеем Платовым, атаманом войска Донского и генералом от кавалерии, и там же впервые увидит улана Александра – Надежду Дурову, легендарную кавалерист-девицу...

А вообще, если вдуматься, ужас! Оловянная пуговица... Какая малость, казалось, спасла нам поэта двести лет назад. Но всё неслучайно в жизни. Ибо через сто пятьдесят лет другой поэт скажет: «Одним не прощается ничего, даже пуговицы незастегнутой, а другим... даже преступления...» Знаете, чьи слова? Анны Ахматовой! Они сказаны, к слову, как раз о поэтах. Но я обомлел, когда в мемуарах деда Ахматовой, изданных недавно, прочел, что предки ее по матери – дворяне Стоговы были в каком-то родстве с Давыдовыми и деда Ахматовой «дитятей» катали в седле Дениса, тогда еще корнета. Более того, когда родители Давыдова в 1798 году купят имение Бородино, где вырастет Денис, где потом состоится знаменитая битва и где впервые явятся на свет наши партизаны, то имение Стоговых окажется в одиннадцати верстах от них. Там, кстати, рядом с Колоцким монастырем похоронена и прабабка Ахматовой. Монастырь сохранился, я был там, поднимался на колокольню, обходил окрестные захоронения, но древних могил не нашел, никто про них и не помнил уже. Но каково сплетение не биографий, нет – судеб?!

Арифметика мужества

Давыдову не прощали ничего. Его обходили чинами и наградами. И золотую саблю «За храбрость», и орден Святой Анны 2-й степени, и золотой крест на георгиевской ленте за Прейсиш-Эйлау – все эти награды он получит с большим опозданием. Он даже острил: любой орден ему надо было «завоевывать дважды» – в бою и... в напоминаниях императору. Напоминал, конечно, не сам, старались отцы-командиры и друзья. Той же Маше Нарышкиной уже Багратион в один из приездов пожаловался: Давыдова обходят наградами. «А ведь всем в армии, – добавил, – ведомо: Багратион попусту воинскими регалиями не кидается». Черноокая Аспазия, пишут, свела брови: «Вот уж и скажу Саше...» Саше – то есть Александру I. А тот мелко мстил Денису за давние стихи, за то, что в басне, из-за которой поэта и выгнали когда-то из гвардии, он, назвав Екатерину II «орлицей», императора обозвал не просто тетеревом – «глухой тварью». Царь-отцеубийца и впрямь был слегка глуховат...

Денис родился в Москве. По одним, недавним сведениям, вроде бы в отцовской усадьбе, которая находилась в 1784-м на пересечении 1-го и 3-го Неопалимовских переулков – там ныне пустырь за бетонным забором (**Москва, 1-й Неопалимовский пер., 5**). По другой, устоявшейся версии – на Пречистенке. На месте родового гнезда стоит теперь новый дом (**Москва, ул. Пречистенка, 13**). Не исключаю, что Давыдовым принадлежали оба дома – и усадьба, и особняк, семья была состоятельная: балы, пикники, выезды на псовую охоту. Отец гордился именьями в Московской, Орловской, Оренбургской губерниях. Но должность занимал простую – командир конного полка. Денис был первенцем его. Он хвастал потом, что явился на свет в год смерти Дидро, в честь которого и назван (хотя назвали в честь деда), и что оба они с Дидро «почему-то оставили след в литературе». Кокет! В роду Дениса были стольники да воеводы, двоюродными братьями станут знаменитые в будущем генералы Алексей Ермолов и Николай Раевский, но прапрадедом Дениса окажется не «истый русак» – золотоордынский князь Тангрикула Кайсым, чей внук Давыд Симеонович и положит начало фамилии Давыдовых. Зато судьбу Дениса, когда ему было девять лет, решит лично Суворов – «неразгаданный метеор», «залетевший» на маневрах пообедать в дом Давыдовых.

Пообедать... Да! Вот так – запросто! Сам Александр Васильевич Суворов! Господи, как я люблю эти детали в исторических книгах, в архивных источниках, свидетельства самые бытовые, иногда ничтожные, но делающие нас вдруг близкими к тому времени, превращающие нас чуть ли не в участников минувших эпох. Что время, что туман летописей и пыль столетий, если я знаю, что там, в десяти верстах от села Грушевка Полтавской губернии, где служил отец Давыдова, в избе к приходу Суворова не только накрыли стол, но срочно убрали все часы, завесили зеркала (полководец не любил их), спрятали подальше фарфоровые куклы, тогда распостраненные, и велели никому не показываться в черном. Этого тоже не любил Суворов. Зато любил – и это подтверждает Давыдов! – хлопнуть перед обедом, «не поморщившись», большой стакан водки. Так было и в тот приезд «метеора»...

Из воспоминаний Дениса Давыдова: *«Я жил под солдатскою палаткою, при отце... Около десяти утра всё... вокруг... закричало: “Скачет, скачет!”... Сердце мое упало, – как после упало при встрече с любимой женщиной. Я весь был... восторг, и как теперь вижу... Суворова – на калмыцком коне... в белой рубашке... в сапогах вроде тоненьких ботфорт, и в легкой... солдатской каске... Ни ленты, ни крестов... Когда он неся мимо... адъютант его закричал: “Граф! Что вы так скачете; посмотрите, вот дети Василья Денисовича”. – “Где они? Где?” – спросил он и... подскочил к нам... Протянул свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: “Любишь ли ты солдат, друг мой?” Смелый и пылкий ребенок, я... мгновенно отвечал: “Я люблю графа Суворова; в нем всё – и солдаты, и победа, и слава”. – “О Бог помилуй,*

какой удалой! – сказал он. – Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграт!»».

Какое там – «не умру»! Денис в тот же вечер дал три «сражения»: размахивая саблей, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, за что и розог получил втройне. Но с того дня он, коротконогий, с голосом «фистулой», стал спать только на досках, обливаясь ледяной водой и до зари летать в седле, что очень «фрисировало» (раздражало) его мать. И, может, с той минуты – рискну предположить! – в нем стал крепнуть культ, как сказали бы ныне, «стопроцентного мужчины» (преодолеть, обогнать, выиграть!). Хотя в душе оставался и тонким, и нежным.

Стихи писал с юности. Возможно, подражая друзьям Андрею и Александру Тургеневым, сыновьям ректора Московского университета, в доме которого (**Москва, Петроверигский пер., 4**) бывал. Вернее, так: он стал рвать бумагу да грызть перья, когда братья дали ему почитать «Аониды» – собрание стихов, издаваемое Карамзиным. Правда, серьезного образования, в отличие от друзей, не получил. «Как тогда учили? – напишет. – Натурали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества: учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке». Знаний набирался сам, бывая с отцом и у поэта Ивана Дмитриева, будущего сенатора и министра юстиции (**Москва, Большой Козловский пер., 12**), и в гостях у Василия Львовича Пушкина (**Москва, Большой Харитоньевский пер., 2**), и в «гнезде» знаменитого Карамзина (**Москва, Брюсов пер., 9**). В последнем доме, который, увы, не сохранился, и родился, считайте, русский сентиментализм. А когда Денису исполнилось семнадцать, запрягли для него кибитку, дали четыреста рублей, наказали не брать в руки карт и отправили в Петербург – его заранее записал отец в кавалергарды, в самый знатный полк империи. Кавалергарды – это ведь белоснежные колеты, лосины, сияющие каски. Мечта поэта!..

В Петербурге поселился у двоюродного брата, у кавалергард-ротмистра Александра Львовича Давыдова, тот занимал весь второй этаж в богатом доме графа Александра Самойлова (**С.-Петербург, Адмиралтейский пр., 6/2**). Именно в том доме, который построил великий Кваренги, будет потом и первый кабинет Дзержинского, и первая советская тюрьма. Ныне он известен по своему второму адресу (**С.-Петербург, Гороховая ул., 2/6**). Дом барона Фитингофа – потомка магистров Тевтонского ордена, если звать его по имени первого владельца. Мать Александра Львовича, Екатерина Давыдова, была урожденной графиней Самойловой, племянницей, кстати, светлейшего Потемкина. Он-то и сосватал ее (в четырнадцать-то лет!) за своего друга и боевого офицера Николая Раевского, – его она увидит лишь на свадьбе, после которой Раевский уедет с Потемкиным в турецкий поход, где под Яссами и погибнет. От брачной ночи у нее, почти ребенка, останется сын – Николенька Раевский. А позже ее возьмет в жены брат отца Дениса – Лев Давыдов и проживет с ней тридцать лет. Жить будут богато, одних имений у них будет столько, что Лев, шутки ради, только из начальных букв их составит фразу: «Лев любит Екатерину». Сосчитайте – семнадцать имений! Так что Денис оказался в Петербурге под крышей такого дома, где его никто и не думал торопить со службой. Напротив, здесь что ни вечер прожигали жизнь юные балбесы: и изящные офицеры гвардии, и великосветские щеголи, и дипломаты, лопочущие «по-иностранному», – друзья двоюродного брата его, того самого кавалергард-ротмистра Александра Давыдова. По мраморной лестнице взлетали они на второй этаж поболтать, глотнуть вина, ругнуть правительство (смеялись, что при Павле «первыми словами» были «дисциплина» и «порядок», а при Александре – «экономия» и «бережливость»), но главное – засесть всей компанией за карты. За то гнусное занятие, от которого остерегали Дениса родители. К счастью, на него оказал влияние другой двоюродный брат его – Александр Каховский, которого Денис еще мальчишкой видел в Грушевке адъютантом у Суворова. Авторитет для юноши! Благодаря ему и его другу князю Борису Четвертин-

скому, ставшему, как мы знаем уже, и другом самого Дениса, наш москвич и стал 28 сентября 1801 года эстандарт-юнкером лейб-гвардии кавалергардского полка.

Жить юнкерам предписывалось в казарме, в здании, занимающем целый квартал рядом с Таврическим садом (**С.-Петербург, ул. Шпалерная, 41–43**). Здесь его сразу прозвали «маленьким Денисом» – он был низкоросл, и это стало большим недостатком. Каховский, правда, кивал на Наполеона, который, будучи коротышкой, сумел ведь стать первым. И – подстегивал насмешками за вступление в службу «неучем». «Что за солдат, брат Денис, который не надеется стать фельдмаршалом! А как тебе снести звание это, когда ты не знаешь ничего такого, что необходимо знать штаб-офицеру...» Вторым же недостатком, непростительным для гвардии, было отсутствие «свободных средств» – попросту монет. Из гордости Денис не обращался к родственникам и месяцами сидел на одной картошке. Зато как никто писал стихи. Всегда писал! И во время дежурств в казармах, и во время экзерциций на плацу, и в манеже, и даже в конюшне, завалившись куда-нибудь в сено.

Через год станет корнетом, потом поручиком, будет нести службу даже в покоях Зимнего дворца. А по вечерам будет желанным участником пирушек в офицерском собрании. Почему? Ведь там, где пылали голубоватым огнем чаши с пуншем, висел табачный дым и пели песельники, он уже прочел свою басню «Голова и Ноги», стих, который через день знала вся гвардия. Через двадцать лет декабрист Штейнгель напишет Николаю I из крепости: «Кто из молодых людей... не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободой, кто не цитировал басни Дениса Давыдова “Голова и Ноги”?» В басне был прямой намек на царя и издевательская строка про «голову»: «Коль ты имеешь право управлять, так мы имеем право спотыкаться. И можем иногда, споткнувшись, – как же быть? – Твое величество о камень расшибить». Сумасшедшие ведь строки! Но самой дерзкой басней Давыдова станет басня «Орлица, Турухтан и Тетерев». В ней, как я уже говорил, Давыдов изобразит Орлицей Екатерину II, драчливым Туруханом – вздорного Павла, а Тетеревом, «хоть он глухая тварь, хоть он разиня бестолковый» – Александра I. Ну какой же правитель стерпит такое?

Короче, 13 сентября 1804 года полковой командир «торжествующе» снял с Дениса знаки отличия кавалергарда и приказал ему немедленно покинуть столицу. За басни! Исключили из гвардии, перевели в Белорусский армейский гусарский полк, в Звенигородку Киевской губернии. Для непосвященных скажу: это был страшный позор – в армию из гвардии отсылали тогда только карточных шулеров, непременно пойманных за руку, казнокрадов, либо трусов, проявивших малодушие перед лицом товарищей. Но наш рифмоплет удар выдержал, легенды о нем летели впереди него. Беспечный, двадцатилетний, он, как напишет потом, лишь «закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду»: в Звенигородке, где стояли гусары, как раз шли осенние балы. Но, пока крутил любовь с какой-то польской красавицей, пока в компаниях залпами вылетали пробки из бутылок («шампанского оттычки»), в мире грохотали реальные залпы. Шла война, был уже и Шенграбен, и Аустерлиц. Его друзья, тот же Четвертинский, даже младший брат Дениса – Евдоким, цепляли на грудь заслуженные кресты и зализывали раны, а он, он припрыгивал до утра в кадрилиях! От других пахло порохом, от него – «необсохшим молоком». И когда он добился перевода в Петербург (его взял в свой эскадрон именно Четвертинский), тогда и стал рваться в действующую армию. Тогда и решился на «ночной набег» в отель к фельдмаршалу. И, может, тогда родился «Черный Капитан» – мужественный двойник его, один из главарей «народной войны»?..

Сражений на его жизнь хватит. По его словам – чуть ли не шестнадцать военных кампаний. Французская, потом Шведская, потом Дунайская война с турками. Нет, знаменитых битв Давыдов (кавалергард, гусар, потом – улан) и в будущем не выиграл ни одной (их выигрывали полководцы). Но сколько раз, уже в Отечественную войну 1812 года, отступая за Москву, а потом – наступая, он обнаруживал вдруг, что сидит на чужом коне (однажды под ним убьют пять лошадей), что кивер наискось разрублен, а ментик прострелен в четырех местах. А 21

августа 1812 года, в виду деревни Бородино, где он вырос, где уже торопливо разбирали родительский дом на фортификации, за пять дней до великого сражения, в овине при Колоцком монастыре Денис и предложит Багратиону идею партизанского отряда (или, как сказал, «поисковой партии»).

Из письма Давыдова – генералу Багратиону: *«Ваше сиятельство! Вам известно, что я, оставя место адъютанта вашего... и вступя в гусарский полк, имел предметом партизанскую службу и по силам лет, и по опытности, и, если смею сказать, по отваге моей... Позвольте мне предстать к вам для объяснений моих намерений; если они будут вам удобны, употребите меня по желанию моему и будьте надежны, что тот, который носил звание адъютанта Багратиона пять лет сряду, тот поддержит честь сию со всею ревностию, какой бедственное положение любезного нашего отечества требует...»*

В партизанской партии Дениса, скоро ставшей народной, спали в очередь, учили бесследно закапывать трупы врага, а при больших силах его – рассыпаться в разные стороны, чтобы через день в условленном месте встретиться вновь. Теперь Дениса было не узнать: вместо ментика и кивера он днем и ночью был в казацком чекмене и лохматой шапке. А дрались так, что соотношение погибших было четыре казака против ста пятидесяти французов. Это уже не выдумки Дениса – всё давно подсчитано. Однажды партизаны наголову разбили корпус, состоявший из 1100 человек пехоты и 500 всадников. То были войска генерала Ожеро, который и сам был взят в плен партизанами Давыдова, Орлова-Денисова и Сеславина. И лишь чудом под Малоярославцем ими не был захвачен и Наполеон. В тот день партизаны, смяв французов, кинулись брать артиллерийский парк, который считался крупной добычей, и не обратили внимания на кучку офицеров, которая уходила от них на лошадях. Давыдов напишет потом: «Казаки бросились частью на парк, а частью на Наполеона и конвой его. Если бы они знали, за кого они, так сказать, рукой хватились, то, конечно, не променяли бы добычу сию на одиннадцать орудий». Вот как дрались! Недаром Коленкур, французский генерал, возмущенный партизанами, этим «варварским способом ведения войны», скажет потом: «Ни потери, понесенные в бою, ни состояние кавалерии и ничто вообще не беспокоило Наполеона в такой мере, как это появление казаков в нашем тылу». Недаром и Бонапарт в занятой еще Москве не только запомнит имя Давыдова, но на описании примет его размашисто напишет: «При задержании – расстрелять на месте»... Честь для русского огромная! Что говорить, из Москвы, по списку штаба неприятеля, вышло 110 тысяч французов, а уже к Березине их осталось только 45 тысяч. Такая вот арифметика русской драки!

Из служебного формуляра Давыдова: *«В действительных сражениях находился под Ляховым 28 октября, под Смоленском 29, под Красным 2 и 4 ноября, под Копысом 9 ноября, где разбил наголову депо французской армии, под Бельничами 14-го... За отличие награжден орденом Св. Георгия 4-го класса; занял отрядом г. Гродно 8 декабря, и награжден орденом Св. Владимира 3-й степени...»*

Это перечень боев только за три месяца. Кстати, именно тогда Давыдов, оглядывая однажды с седла колонну пленных, увидел, что один из них очень похож на русского. «Мы спросили его, какой он нации? Он пал на колена и признался, что он бывший гренадер и что уже три года служит во французской службе унтер-офицером. “Как! Ты – русский и проливаешь кровь своих братьев!” – “Виноват! – было ответом его. – Умилосердитесь, помилуйте!” Я послал, – пишет Давыдов, – собрать всех жителей, старых и молодых, баб и детей... Спросил: находят ли они виновным его? Все единогласно сказали, что он виноват. Тогда я спросил: какое наказание они определяют ему? Несколько человек сказали – засечь до смерти, человек десять – повесить, некоторые – расстрелять... Я велел завязать глаза преступнику. Он успел сказать: “Господи! Прости мое прегрешение!” Гусары выстрелили, и злодей пал мертвым»...

Так понимали патриотизм на Руси. Иначе понимали его французы. Однажды, например, Давыдов в толпе пленных увидел юного барабанщика. Мальчика-француза звали Викентий,

ему было пятнадцать. «При виде его сердце мое облилось кровью; я вспомнил и дом родительский, и отца моего, когда он меня, почти таких же лет, поручал судьбе военной!» Словом, Денис оставил мальчишку при себе, дал ему чекмень и фуражку и, как пишет, «сквозь успехи и неудачи, чрез горы и доли» довез его до Парижа и из рук в руки передал престарелому отцу. Так вот, невероятно, но через два дня отец и сын пришли к Давыдову за аттестатом. «Довершите благодеяние, – взмолился отец мальчика, – дайте ему аттестат в том, что он находился при вас и поражал неприятеля». – «Но неприятели были ваши соотечественники! – изумился Денис. – Ты чрез это погубишь сына, его расстреляют!» – «Нынче другие времена, – ответил ему старик-француз, – по этому аттестату он загладит невольное служение хищнику престола и получит награждение». «Хищником престола» назвал свергнутого уже Наполеона. «Что ж, если это так, – ответит ему Денис, – жалка мне ваша Франция!» Аттестат (справку, по-нашему) он, конечно, даст, и уже через неделю увидит у Викентия орден Лилии в петлице...

Нет, сражений Давыдов не выигрывал, но два города, представьте, взял. Гродно (где «за стуком сабель застучали стаканы и – город наш!») и, вообразите – Дрезден. Оба взял без разрешения начальства. Когда царю доложили, что Гродно взят отрядом полковника Давыдова, император, говорят, растерялся: «Что? Каким Давыдовым? А где же Корф?..» Генерал-адъютант барон Корф был любимцем царя, и по плану именно он должен был взять город. А за Дрезден, где Давыдов одолел гарнизон вдесятеро больший (между прочим, маршала Даву), где издевательски заставил французов выстроиться во фронт во всем параде, сделать «на караул» и отдать русским честь, а сам (браво, bravo, Денис!) лишь слегка приподнял шапку; так вот за Дрезден получил не просто выговор – едва под суд не пошел. Город должен был взять генерал Винценгероде – «винцо в огороде», как звали немца бойцы Дениса. «Вы совершили государственное преступление! – орал тот на Давыдова. – Развели в армии партизанщину!» К счастью, за Дениса заступится сам Кутузов, и император, скрепя сердце, заявит: «Что ж, победителей не судят...» Короче, после таких побед в европейских газетах и замелькает имя его рядом с диковинным званием «Черный Капитан». Французский академик Арно пошлет посвященные ему свои стихи. А Вальтер Скотт, признанный уже классик, найдет где-то и повесит у себя над столом портрет его...

Из письма Вальтера Скотта – Денису Давыдову: *«Вы едва ли можете себе представить, сколько сердец – и горячее всех сердце пишущее Вам – обращалось к вашим снежным бивакам с надеждой и тревогой... и какой взрыв энтузиазма в нашей стране вызвало ваше победоносное наступление. Имя ваше останется в веках на самых блестящих и вместе горестных страницах русской истории»...*

Взбудоражил Европу «Черный Капитан». «Капитан», а так назвал его именно Вальтер Скотт, означало «предводитель», «вожак», а «черным» он был назван потому, что на русских лубках, попавших и в Европу, Давыдова изображали в черном чекмене и в черной мохнатой шапке. На самом деле «капитан» был уже полковником, и царь трижды отклонил представление его в генералы. Впрочем, даже императоры бессильны против неопровержимой арифметики побед. В Париж, впереди армейской кавалерии, Денис въедет-таки генералом. Расквартируют его по-царски, поселят в доме, который известен как Дом Кентавра – из-за двух барельефов на фасаде (**Париж, наб. Бурбон, 45–47**). Окна выходили на Сену, на мосты, на замок Тюильри, и, стоя рядом с этим зданием, я, через двести лет, легко воображал, как, взирая на побежденную столицу, важно «круглил» тут грудь и раздувал усы «Черный Капитан». Дом, кстати, прогремит и позже: в нем некая Люси Фор-Фавье сорок лет будет держать потом как раз литературный салон, в котором будут бывать Аполлинер, Жироду, Макс Жакоб, Кокто и даже – Пикассо. Нет, воля ваша, но в жизни всё неслучайно. Ведь именно в Париже молодой русский генерал Давыдов купит тетрадь, переплетенную в пергамент, и начнет приводить в порядок свои партизанские записи. На первой странице напишет: «1814 года 16 Апреля. г.

Париж». Хотя эполеты, золотые генеральские эполеты ему аукнутся еще. И поразительно – аукнутся не на поле брани, не в светских и литературных салонах – в любви.

Этот русский... «армянин»

Признаюсь: я всю жизнь мечтал подняться на третий этаж этого здания на Фонтанке (**С.-Петербург, наб. Фонтанки, 20**). Туда – в ту прославленную комнату, где мальчишка Пушкин, вспрыгнув на стол, лег на него и, глядя через Фонтанку на мрачную громаду царского дворца – Михайловского замка, – написал: «Тираны мира! трепещите!..» Тоже ведь – сумасшедший! Ведь ниже, на втором этаже этого дома, и Пушкин, кажется, знал это, была личная молельня обер-прокурора Синода, министра просвещения Голицына, где под лампадой из красного стекла в виде сердца, которое жутко светилось в темноте, вместе с Голицыным, и как раз за искоренение «вольнодумства», часто молился сам Александр I. Вот эту комнату, это окно Пушкина и хочется увидеть, поймать тот ракурс, ту прямую взгляда поэта, уткнувшуюся в «одетый камнем» замок! А кроме того, я же знаю – в этом доме у братьев Тургеневых на третьем этаже собирался иногда и знаменитый «Арзамас», литературное общество, куда входили Пушкин, Батюшков, Вяземский, Жуковский и куда однажды привели боевого генерала Давыдова. Уж не Вяземский ли привел, с которым они в Москве еще были влюблены в двух подружек-балерин, учениц Театрального училища, и который года за три до визита на Фонтанку уже назвал Давыдова «российским Анакреоном под гусарским доломаном»?

Вообще с князем Петром Вяземским Денис был знаком в Москве еще до войны, они вместе входили в «дружескую артель» – в поэтический кружок. Часто бывал у него дома, Вяземский жил на Басманной (**Москва, ул. Новая Басманная, 27**), навещал его позже и в доме Екатерины Муравьевой, где тот жил одно время с историком Карамзиным (**С.-Петербург, наб. Фонтанки, 25**). Но в доме братьев Тургеневых, с которого я начал эту главу, в третьем этаже его, и будут принимать в «Арзамас» и семнадцатилетнего Пушкина, и уже тридцатидвухлетнего Дениса. Первому дадут кличку «Сверчок», за непоседливость, а второму, «Черному Капитану», за черноту усов – «Армянин».

Иные ученые пишут, что Денис тут и познакомился с Пушкиным. По другой версии, познакомился в те же дни, но на квартире Блудова (**С.-Петербург, Невский пр., 80**), где жил тогда и Жуковский. Но важнее, думаю, другое: лицеист Пушкин, пишут, примерно в это время и собирался, по примеру Давыдова, идти в гусары. При встрече Денис якобы сказал ему, что по стихам давно уже любит его. «А я вас и того ранее», – с жаром выпалил Пушкин. Он, как младший, будет лет десять еще на «вы» с Денисом и даже признается, что как поэт весь «вышел» из него. Давыдов, скажет, «дал мне почувствовать, что можно быть оригинальным», и научил «кручению стиха». Повинится, что «украл» у него слова – «бешенство желанья»: «Я нравлюсь юной красоте // Бесстыдным бешенством желаний». И, краснея, добавит: «Коли сочтете возражать – вымараю!» А когда статью Дениса о войне позже отдадут цензору, и вовсе рассмеется: «Это всё равно, как если бы князя Потемкина послать к евнухам учиться обхождению с женщинами...»

«Арзамас», который собирался и у Блудова на Невском, и у поэта А.Плещеева (**С.-Петербург, ул. Галерная, 12**), и у будущего министра Сергея Уварова (**С.-Петербург, ул. Малая Морская, 21**), через год прикажет долго жить. Но Давыдов и Пушкин будут дружить всю жизнь. Через несколько лет Пушкин, уже в Москве, позовет Давыдова в дом, где была тогда гостиница «Англия» и где с 1826 года он часто останавливался (**Москва, Глинищевский пер., 6**). Денис, а он жил тогда в Гагаринском (**Москва, Гагаринский пер., 33**), ворвавшись к другу, узнает: тот хочет, чтобы Давыдов послушал «Выстрел», повесть Пушкина, где главным героем был как раз гусар. Я не стал бы поминать эту встречу, если бы не реакция Давыдова. Ныне точно известно: когда Пушкин добрался до рассказа Сильвио о себе, когда прочел его слова: «Я привык первенствовать... В наше время буйство было в моде: я был первым буйном по армии... Я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым», – так

вот, когда Пушкин прочел это, Денис именно в этом месте радостно вдруг взорвался. «Не иначе, – крикнул, – как наш Белорусский, гусарский!..» Имел в виду свой полк. Не хотелось бы домысливать, но, думаю, Пушкин (вряд ли слышавший до того про Белорусский полк) не мог не рассмеяться на простодушную отзывчивость вояки. А скорее всего, хохотал так, «что кишки видно», – именно так отозвался однажды о смехе поэта художник Брюллов.

«Пушкина, – писал потом Денис Вяземскому, – возьми за бакенбард и поцелуй за меня в ланиту. Знаешь ли, что этот черт, может быть не думая, сказал... одно слово, которое необыкновенно польстило мое самолюбие? Он, хваля стихи мои, сказал, что в молодости своей от стихов моих стал писать свои круче и приноравливаться к оборотам моим». А Пушкин напишет ему потом, уже на «ты»: «Я слушаю тебя и сердцем молодею». Но, с другой стороны, скажет как-то о Денисе: «Военные уверены, что он отличный писатель, а писатели думают – отличный генерал». Язвительно, но ведь точно. Это ведь и про двойственность Дениса, про «комплекс мужественности», или опять – про «Черного Капитана». Говоруна заносило – и не раз, да и как со стаканом в руке, в компании таких же рубак не приврать. Тем более что он, партизан, генерал, известный поэт, теоретик военного дела и дамский угодник, везде хотел быть первым: и в чопорном салоне, и на пирушке с чашей жженки, и в лихой атаке, и – за письменным столом. Да что хотел – был первым. Первый солдат, высланный за стихи, первый, употребивший в поэзии точки вместо нецензурных ругательств. Даже первый командир, который отважился при народе высечь помещика за саботаж. Ну как такому не прихвастнуть? Ну чуть-чуть! Хвастал, например, что был в занятой Наполеоном Москве как разведчик и в одежде француза, чего, кажется, не было. Наконец, имея репутацию забияки, бретера и даже певца поединков, ни разу не дрался на дуэлях (упоминаний о них я не встречал), хотя в полках, где служил, их случалось по три на день. Да и пьянство его, воспетое в стихах им же («всегда веселы и всегда навеселе!»), тоже, кажется, было фанфаронадой.

Из заметок Вяземского о Давыдове: *«Нелишне заметить, что певец веселых попок несколько поэтизирован. Радушный и приятный собутыльник, он на деле был довольно скромным и трезвым. Не оправдывал собой пословицы: пьян да умен, два уголья в нем. Умен он был, а пьяным не бывал»...*

Вот она легенда, вот – «Черный Капитан»! Но разве история не убеждала нас, что легенды рождаются там, где есть Личность?! Впрочем, он, артистическая натура, наверное, и не мог без легенд. Ведь на деле истинный, домашний Давыдов, певец бесшабашного веселья, тем не менее всё чаще повторял, вообразите, грубоватую, но верную французскую поговорку: «Кто часто садится на гвоздь, тот редко смеется»...

Два дома с одним номером...

Отчего нас, особенно на склоне лет, так притягивает к себе история, судьбы давно отживших людей, марево прошлого, которое, как сон, снова и снова пытаешься «вспомнить», паутина, патина невозвратно ушедшего, что с годами становится почему-то интереснее всего, что окружает тебя в жизни? Почему поэту XX века вдруг хочется «поужинать в “Яре”» с Пушкиным и почему я испытываю «род недуга» от музейной чернильницы тех лет, замираю перед истертым временем мундиром гренадера за стеклом экспозиции на нынешнем Бородинском поле и чуть не падаю в обморок в Литературном музее на Пречистенке, увидев обтянутый золотой тканью диван, на котором полеживал когда-то Давыдов? Диван стоял в Каменке, в имении дяди поэта, и на нем, как и мы, грешные, растягивался после обеда ли, после рассветной охоты или поздней гульбы реальный Денис Давыдов. Диван сохранился – чудо! – а поэта сто семьдесят лет, как нет...

Уж не на этот ли диван опустился Денис, когда в 1809-м, отправленный Багратионом с южной, Задунайской кампании с курьером и бумагами в Петербург, завернул в Каменку и остался в ней на девять дней? В Каменке возник на Рождество! Звонили колокола, ухали домашние mortarы. Здесь жили двоюродный брат Дениса Александр Давыдов, тот самый кавалергард-ротмистр, а ныне – отставной полковник, и его жена – эпицентр всего – легкая, фривольная, кокетливая, изнеженная, лукавая француженка Аглая Давыдова, урожденная герцогиня де Граммон. Она, Аглая-прелестница, дочь роялиста и ярого врага Бонапарта, станет одной из первых красавиц Петербурга. В Каменке в нее, имевшую уже двух дочек, были влюблены все, а те, кто не был, просто таяли перед ней. Некоторые утверждают ныне: Денис не только не избежал общей участи, но и добился любви ветреной родственницы. Еще при знакомстве она якобы сказала: «Боже, я и не знала, что у меня есть такой славный и воинственный кузен... Вы к тому же еще и поэт...» Она стала звать его на французский манер Дени, целовала в седую прядь на лбу и, будучи не слишком строгих нравов, однажды ночью с букетом белых лилий сама пришла к нему, чтобы обнять за шею «прохладными руками» и уже не отпускать до утра. Уж не на нашем ли диване и обнимались?..

Впрочем, что диван, что чернильницы поэта – колодцы его стихов, если в Москве сохранились целые дома Давыдова. И два из них – в пяти минутах ходьбы от Литературного музея. Клянусь, вы много потеряете, если не увидите их. Первый дом – сказка, деревянный, трехэтажный, – прямиком из той эпохи, стоит, как и положено, – в центре нынешнего военного квартала (**Москва, Большой Знаменский пер., 17**). Торопитесь, его ведь снесут современники-сволочи, рано или поздно, но – снесут. А второй дом, не дом даже – домина, «пречистенский дворец», как звал его Давыдов, стоит на самой Пречистенке (**Москва, ул. Пречистенка, 17**). Стоят, заметьте, под одним номером, под номером 17. Но есть куда более важное совпадение: оба стоят на улицах, в устье которых высится храм Христа Спасителя. Вот это – параллель! В те времена храма, как известно, не было еще, но мы-то знаем: он построен на народные деньги и в честь победы 1812 года. А значит – и в честь Дениса! Ведь это он скажет перед смертью: «Я считаю себя рожденным единственно для рокового 1812 года». Потому и не удивило меня, что первый из них, тот, что в Знаменском, занят сегодня как раз Министерством обороны. Нутряная, не топографическая какая-то связь, необрезанная пуповина столетий!..

Я, кстати, кружа у этого дома под задумчивыми взглядами из-под козырьков (уж не шпион ли?), всё хотел спросить генштабистов: а знают ли они, что именно сюда зимой 1828-го без приглашения закатился вдруг приехавший в Москву «велосифером» («поспешным дилижансом», который, представьте, тащился пять суток) сам Пушкин? Еле, кстати, нашел в Москве Давыдова. Они виделись два года тому назад, когда Пушкина вернули из ссылки и он навестил друга в доме, где временно, как пишет один арбатовед, квартировал тогда Давыдов

(**Москва, Арбат, 25**). Может, потому Денис теперь и пошутил при встрече, что дома меняет из-за растущей семьи, а заодно, как партизан – «следы замечает». «Истинные же друзья, – добавил, – меня всегда найдут по одному биению сердечному...» Так вот, знают ли господа вояки, занявшие ныне это здание и так и не повесившие на его фасаде мемориальной доски, что Пушкин именно здесь прочел сначала «Чернь», потом поэму «Мазепа» (так называлась «Полтава»), а под конец вдруг сказал, что на балу танцмейстера Йогеля только что видел юную Гончарову. Жену будущую видел.

Давыдов к тому времени уже девять лет как был женат на голубоглазой Соне Чирковой, дочери генерала, владелице имения под Сызранью и винокуренного заводика. До нее, если не брать в расчет ветрениц, встреченных на биваках, «амореток», как говорили тогда, и любительниц стихов «на ушко», у него было два романа. Оба – неудачные. Одна, юная балерина (ну какой гусар без балерины!), которую он, прославленный уже генерал, караулил лето, осень и зиму у дверей театрального училища (**Москва, ул. Большая Дмитровка, 8**), ушла, когда случилась катастрофа. Дениса по ошибке (в армии было шесть Давыдовых) лишили генеральства и перевели в полковники. Аукнулись ему эполеты генерала, помните? То был грандиозный скандал – то-то жужжали сплетники по салонам да приемным: петух, выскочка, подхалим. Потом разберутся, звание вернут, конечно, но честный вояка не только потеряет свою любовь, но от обиды и стыда чуть не покончит с собой. Было, было такое... А вторая любовь, изящная семнадцатилетняя полька с пепельными волосами Лизанька Золотницкая (порывистое, румяное, улыбочное создание с чуть прищуренными серыми глазами), просто не дожидается его. Он познакомится с ней в 1816-м, в Киеве, у Раевских, и после мазурки, экосеза и кадрили без памяти влюбится. Она еще скажет ему, запыхавшись после танца и округлив глаза: «Вы знаете, мне говорили, будто партизаны носят бороды, и я представляла вас таким страшным...» Денис хохотнет, раздувая усы, и, не тратя времени, получив согласие на брак, понесется в столицу испросить у императора государственную аренду в связи с женитьбой. Государь бумаги на шесть тысяч рублей годовых подпишет! Но, вернувшись в Киев, наш жених узнает: за месяцы отлучки невеста его «отдала свое чувство князю П.А.Голицыну» – бонвивану, картежнику и кутиле, кстати, изгнанному из гвардии за не вполне благовидные и какие-то скандальные дела. Откажет Давыдову через отца – сказать прямо не хватит духу. Давыдов ответит ей быстро, гордо и в стихах: «Неужто думаете вы, // Что я слезами обливаюсь, // Как бешеный кричу увы // И от измены изменяюсь?..» А вот над прошением к императору об отказе от аренды в связи с расстроившейся свадьбой будет сопеть долго. Противно ведь, что во дворце будут посвящены в его личные дела. К счастью, император и на этот раз проявит великодушие к генералу и аренду за ним – оставит...

И вот теперь он – женат. С Соней его познакомила родная сестра Дениса – Саша. Познакомила в доме Бегичевых на Мясницкой, где ныне редакция «АиФ» (**Москва, ул. Мясницкая, 42**), а когда-то чуть ли не ежедневно бывали Грибоедов (он даже жил здесь одно время), Вяземский, В.Ф.Одоевский, композиторы Алябьев (фронтальной друг Давыдова) и Верстовский, который именно здесь исполнил впервые свой романс «Черная шаль». «Вот бы тебе такую», – шепнула Денису Саша, кивнув на Соню. «Да уж больно строга», – будто бы отшутился он. Но дух домовитости и покоя, которого он не знал уже много лет, от Сони действительно исходил. А кроме того, за ней давали деревеньку Верхнюю Мазу (пятьсот душ, не шутка) и винокуренный заводик. Словом, одному из друзей он тогда и написал: «Уведомляю, что 13-го вечером я принял звание мужа». Конечно, «звание», как еще мог написать вечный солдат! Зато теперь, сообщал Василий Львович Пушкин Вяземскому, Денис «разъезжает со своею молодою женою в четвероместной карете и, кажется, важен и счастлив». Зато в первое еще их гнездо в Трубниковском (**Москва, Трубниковский пер., 26**), затем в сохранившийся дом в Большом Знаменском, а потом, в 1830–1831 годах, и в Дурновский переулок (**Москва, Композиторская ул., 16**) Соня внесет и достаток, и хозяйственность. Ну, любит магазины, модные лавки, ну, не

полетела бы за ним в Сибирь, если бы его, как брата-декабриста, сослали бы (был в семье про то разговор!). Но зато не мешает хоть и на тысячу рублей покупать книги Монтескье, Руссо, Вольтера, даже шотландского историка Робертсона. Не возражает, чтобы муж наконец-то «взял абшид» – ушел в отставку. Не перечит визитам к друзьям: молодому офицеру и писателю Бестужеву-Марлинскому (**Москва, ул. Зубовская, 14**), Баратынскому (**Москва, Вознесенский пер., 6**), к задушевному другу еще по партизанскому отряду подполковнику Алябьеву – автору трогательных романсов (**Москва, Малый Козихинский пер., 11**). И уж конечно – грустной «пьянке» у Пушкина, когда тот накануне свадьбы устроил мальчишник в нанятых пяти комнатах на Арбате (**Москва, Арбат, 53**). В том доме сойдутся тогда Нащокин, Баратынский, Языков, И.Киреевский, Левушка, брат поэта, и композитор Варламов. Правда, давыдовское присутствие на мальчишнике оспаривается, ибо в то время он как раз спешил на новую военную кампанию – в Польшу, но в письме Дениса Языкову нашли вдруг фразу: «Я пьяный на девичнике Пушкина говорил вам...» Выходит, был? Но почему – «на девичнике»?.. Загадки, тайны даже в изученной, казалось бы, вдоль и поперек пушкинской жизни.

Впрочем, восстание в Польше, на которое спешил Давыдов, случилось, когда семья его (с няньками, мамками, воспитательницами и гувернантками) уже переехала в «квартиру с мебельями», в новый дом его, который, увы, не сохранился (**Москва, Смоленский бул., 3**). «Предписание», которое получил тут поэт, было привычным: явиться в распоряжение Главного штаба действующей армии. Но польская кампания станет последней в его послужном списке (ему уже до смерти надоело это «единственное упражнение: застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от глотки до пупа»).

Из письма Давыдова – жене: *«Повторяю как тебе, так и здесь всем, что это моя последняя кампания – даю тебе в том честное слово. Пора на покой: 15-я кампания не 15-й вальс или котильон! Пора! Пора на печку!..»*

Вернувшись из Польши генерал-лейтенантом – «наплечные кандалы генеральства», – он засунет мундир в сундук и примется за писание. К тому времени, в 1832-м, выйдет единственная при его жизни поэтическая книжка – «Стихотворения Дениса Давыдова»: тридцать девять стихов после двадцати девяти лет работы. Теперь он пишет «Дневник партизанских действий», завершает военно-теоретическую работу «Опыт о партизанах», кропает «Записки». Пишет так, что Белинский признается: Давыдов как прозаик «имеет полное право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы». И пишет так много, что ученым до сих пор не удалось составить весь список напечатанного Давыдовым – он ведь многое и не подписывал.

Кстати, читать записки его – удовольствие. Вот где он пульсирующий, настоящий. Невозможно не улыбаться, когда он рассказывает, как стрела казака-башкирца пронзила не нос – носище французского подполковника. Чтобы вытащить ее, лекарь хотел распилить стрелу, но башкирец заорал: «Нет, нет, бачка, не дам резать стрелу! Я сам ее выну...» – «Как же ты вынешь?» – закричали зеваки вокруг. «Да возьму за один конец и вырву!» – «А нос?» – «А нос?.. Да черт с ним, с носом!..» И – не грустить, читая, как умирал генерал Кульнев, друг Дениса. Тот Кульнев, в кого за благородное обращение с противником Густав I V, шведский король, особым приказом запретил своим солдатам стрелять. Этот же Кульнев начинал свои приказы со слов «Вставайте, я проснулся!», а заканчивал фразой – «Штыки горят!» Кульнев умрет от разорвавшегося ядра 20 июля 1812 года в сражении под Клястицами. Лишится обеих ног и, истекая кровью, сорвет с шеи Георгиевский крест и бросит его окружившим товарищам: «Возьмите. Пусть неприятель, когда найдет труп мой, примет его за труп рядового солдата и не тщеславится убиением русского генерала...» Кульнев нарочно ходил в шинели простого гусара из толстого солдатского сукна. Но дрался как никто. «Матушка Россия, – говорил, – тем и хороша, что в каком-нибудь углу ее да дерутся...» Актуально звучит – не правда ли? И какие все-таки размашистые были люди!..

Из заметок Дениса Давыдова: *«Огромна наша мать Россия! Изобилие средств ее дорого уже стоит многим народам, посягавшим на ее честь и существование; но не знают они еще всех слов лавы, покоящихся на дне ее... Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подыметя!..»*

Тоже – актуальные слова. Не просто слова поэта – пророчество генерала, если помнить о второй по счету Отечественной войне России.

«Звезда» последняя

Не Давыдова мы не знаем, мы себя – не знаем. Есть, есть какой-то закон: таланты невольно, как планеты, притягивают к себе другие таланты. Растут бок о бок, как усыпанное плодами древо, хоть натуральное в садах, хоть – генеалогическое. Разве мы помним, что двоюродными братьями «военной косточки» Давыдова были генералы Ермолов и Раевский? Разве не узнали только что про деда Ахматовой, который, кажется, был в родне с Давыдовыми? А если я скажу, что дальним родственником Дениса был также Иван Бунин, тоже, кстати, крупный поэт? И что Давыдов едва не породнился с Пушкиным и даже, непредставимо, – с предками Блока? А ведь это всё – правда. Да, Пушкин однажды сказал Давыдову, что сестра его Ольга давно и безответно влюблена в него. Но Пушкин не успел узнать, что, когда Давыдову стукнуло пятьдесят, когда он был уже женат и имел кучу детей, он, как юнкер, влюбится в девушку, которая не только окажется в родстве с Пушкиным, но которая была двоюродной сестрой химика Бекетова, а значит – станет какой-то там прабабушкой Блока. Ну, не удивительно? Так и кажется, что поэты, эти избранные Богом люди, где-то там, в недрах геномов, в чреве столетий, в записанных не иначе как на небесах родословных – все связаны меж собой. Да не просто историей с географией – родственной кровью, наследным словом...

В последнем доме своем на Пречистенке, 17, который Давыдов величал «пречистенским дворцом», он поселится с женой и уже шестью сыновьями в 1835-м. Официально дом купила жена Давыдова, но сам он ринулся в эту авантюру (дом был велик даже для его семьи), думаю, из-за скрытой сентиментальности: ведь в двух шагах отсюда, в доме 13, он и родился. Это был его район, его колыбель, его «детская площадка».

Каменная глыба, двухэтажная крепость, действительно дворец с колоннами, полукруглым окном мансарды, с двумя флигелями по бокам, дом этот ныне «с иголки» отреставрирован московскими бизнесменами. И, как водится, ими же и занят. Попасть туда непросто – охранники еще на улице устроят вам форменный допрос. Я оказался в нем лишь благодаря тому, что снимал в то время телефильм о Давыдове. Кованая лестница, парадный зал, уютное гнездо в мансарде – что еще нужно постаревшему в боях воину? Когда-то дом принадлежал Архарову, обер-полицмейстеру и губернатору, который, встречая друзей, кричал, говорят, в приступе радушия: «Чем почтить мне дорогого гостя? Прикажи только, и я для тебя зажарю любую дочь мою!..» Так шутили тогда! Потом домом владел дядя Архарова, сенатор Иван Нарышкин, а уж после него – генерал-майор Гаврила Бибиков, у которого и купили дворец Давыдовы. Видимо, тот Бибиков, который при Бородине, будучи адъютантом Милорадовича, потерял правую руку в бою – ядро попало в нее как раз тогда, когда он указывал пехоте направление атаки. И что вы думаете – прежде чем потерять сознание, он показал-таки это направление, но другой, левой рукой. Да, люди были и впрямь размашисты, даже если и размахивать было уже нечем...

В «пречистенском дворце» Давыдов проводил теперь только зиму. Летом же вывозил семью в Верхнюю Мазу, в пензенское имение жены. Маза, если по-русски, – «Новая деревня». Она и была сельцом, где Денис занимался хозяйством, пшеницей («гусар-хлебопашец», не стыдившийся «поднять смиренный плуг солдатскою рукою»), растил скаковых лошадей, охотился вволю с борзыми и даже с ловчими ястребами. Из Верхней Мазы как-то, спасаясь от холеры, явился в Москве к министру внутренних дел и, щелкнув каблуками, спросил: чем могу быть полезен? С того дня должность его стала называться «санитарный надзиратель». Сутками работал «на холере», ночуя на пропахших хлоркой заставах (открывал больницы, карантинные бараки, бани, подбирал медперсонал из студентов, доставал транспорт, лекарства, еду). Так работал, что в «Ведомостях» Погодина его участок назовут лучшим, а самого его – «образцом» в борьбе с болезнью. Отсюда, из «пречистенского дворца», в январе 1836 года, решив устроить

себе «великий праздник души», в последний раз отправился в Петербург; хотел «затолкать» на обучение старших сыновей: одного – в институт путей сообщения, другого – в училище право ведения. Девять дней прожил в Северной Пальмире, дивясь и Александрийскому столпу на Дворцовой, и двухэтажным «империалам» на Невском. Обедал у Вяземских (**С.-Петербург, ул. Моховая, 32**), а ужинал у Пушкиных – в бельэтаже на Неве (**С.-Петербург, наб. Кутузова, 32**). Успел повидаться в те дни и с первым эскадронным командиром Борисом Четвертинским, и с Николаем I – царем. Жуковский устроил аудиенцию в Зимнем, где поручик Давыдов нес когда-то караульную службу, а теперь, вместе с братьями Ермоловым и Раевским, парадным портретом висел в Военной галерее дворца. А под конец вояжа в квартире Жуковского, под крышей дома Шепелева, которого, увы, уже нет (**С.-Петербург, ул. Миллионная, 35**), Давыдову устроили прощальный вечер. Пушкин, Вяземский, Крылов, Плетнев, Одоевский, молодой Гоголь и множество других знакомых и незнакомых лиц собрались почтить его, ветерана. «Из двадцати пяти умных людей, – хвастанет жене, – я один господствовал, все меня слушали». Так ли было, не установить, но именно после этой поездки Пушкин впервые в письме назовет его на «ты». Эх, не долго будут «тыкать» они друг другу, ибо через год в дом на Пречистенке ворвется с мороза ошалелый Баратынский и крикнет с порога: «Пушкина нет боле!..» Денис на месяц свалится в постель: удушье, боли в груди.

Из письма Давыдова – Вяземскому: *«Смерть Пушкина меня решительно поразила; я по сю пору не могу образумиться. Здесь бог знает какие толки... А Булгарины и Сенковские живы и будут жить, потому что пощечины и палочные удары не убивают до смерти...»*

Потом, уже в мае 1837-го, напишет Вяземскому: «Что мне про Москву тебе сказать? Она всё та же, я не тот...» Да, всё в его жизни становилось теперь «не тем». «Черный Капитан» – миф, легенда, имидж, а может, и маска – как бы мстил Давыдову-человеку. Начиная от «ревматизмов», казалось, невозможных у него, и кончая окружавшими людьми, будто облезшими в одночасье. «Не той» оказалась даже жена. Теперь ссорился с ней из-за своих же крестьян. Возмущался, что в неурожай, когда крепостные натурально мерли, помещики и не думали помогать им. Жена возразила: она не видит причин его возмущениям. «Помилуй, Соня, что ты говоришь? – изумился он. – Там голод, люди пухнут от лебеды». «В Поволжье, – невозмутимо отозвалась Соня, – неурожайные годы явление обычное, поэтому разумные крестьяне имеют хлеб в запасе, а неразумным надлежит брать с них пример, а не рассчитывать на дармовое кормление... Вот и всё, мой друг!..» Разругался не только с женой – с любимой сестрой Сашенькой и ее мужем Дмитрием Бегичевым. Тот не только стал сенатором, но, толстый и самодовольный, объявил себя писателем: издал роман «Семейство Холмских». «Не срами меня, – сказал Денис, прочитав еще рукопись, – и имени автора не выставляй». Тот послушался. Но бульварное чтиво его неожиданно имело успех у публики и принесло ему двадцать тысяч дохода. А когда Денис упрямо повторил, что талантом в книге и не пахнет, Сашенька, сестра, вспыхнула: «Странно тебя, Денис, слушать... И, право, можно подумать, что ты нарочно говоришь так, чтоб позлить нас или из зависти». И «Митенька», муж ее, станет при жизни куда известней Дениса. Но вконец разведет Дениса и с женой, и с родней последняя любовь его – закатный роман, надежда, мелькнувшая ему, которую он – «гомеопатическая частица» мира, как звал себя, – не раз будет вспоминать в доме на Пречистенке.

«Психея», «звезда спасенья», «поэзия от ног до головы» – так называл в стихах Женечку Золотареву. А познакомился случайно. Просто на Святки 1832 года, он, генерал-лейтенант, ветеран лихих кампаний, седой гусар, кряхтящий, простите, «от ревматизмов», и автор книги стихов, отправится из Верхней Мазы в село Богородское – навестить сослуживца и подчиненного по партизанскому отряду гусара-ахтырца Дмитрия Бекетова. Проскакав двести верст, заснеженный и веселый, он прямо с порога будет представлен двум племянницам хозяина – Евгении и Полине Золотаревым. В Евгению, двадцатидвухлетнюю красавицу, живую, легкую, остроумную, и влюбится с первого взгляда. На три почти года влюбится. Особенно поразит

его, что она, по рассказам дяди, знала о каждом подвиге Дениса, а стихи его лепетала и напечет, и наизусть. То-то он был восхищен! Куда девался его опыт любовных «атак», поэтическая снисходительность к «амореткам». Именно ей он и признается: «Я, подобно закупоренной бутылке, три года стоял во льду прозы, а сейчас...» – «Пробка хлопнула, – расхохочется она. – И что же?...»

А действительно – что? Ну, потерял голову. Ну, поняла она его душу, ну, упивалась стихами его. Наконец, именно она через московское семейство Сонцовых приходилась дальней родственницей Пушкину, а заодно была и двоюродной сестрой будущего великого Бекетова – деда Блока. Но когда она первая, как в «Онегине», призналась ему в любви, он понял: пропал. И что такое двести верст еженедельно, пусть и по морозу, для человека, дважды пересекшего Европу? Он же любим, он опять молод и – не надо «ни земли, ни рая». Он же не знал, что любовь станет и великим счастьем, и великой бедой.

Из письма Давыдова – Вяземскому: *«От меня так и брызжет стихами. Золотарева как будто прорвала заглохший источник. Последние стихи сам скажу, что хороши... Уведомь, в кого ты влюблен? Я что-то не верю твоей зависти моей по-молоделости... Да и есть ли старость для поэта? Золотарева все поставила вверх дном: и сердце забилося, и стихи явились...»*

Друзья его, тот же Вяземский, стихи его к ней не только напечатали вопреки запрету Дениса, но и отметили под ними – «Пенза». «Злодей! – отослал он Вяземскому спешное письмо. – Зачем же выставлять Пенза под моим Вальсом?.. Ты забыл, что я женат, что стихи писаны не жене... Что мне с вами делать? Видно, придется любить прозой и втихомолку...»

Увы, развязка последней любви его окажется печальной. Он не смог скрыть своих чувств, и тяжело оскорбленная жена вскоре скажет ему: она всё знает, не надобны эти его поездки к Бекетовым, его «мальчишеские скачки», он может вообще не возвращаться. «Жалеть не буду, проживу с детьми отлично, не беспокойся!..» Намекала, что имение – ее, пшеницей успешно торгует сама, а у него лишь бредни – поэтические бредни. Короче, то ли дрогнул гусар, то ли охладела любовь Золотаревой (мы так и не узнаем этого), но девица собралась в конце концов замуж за отставного драгуна Мацнева, который, как оказалось, сватался к ней чуть ли не пять лет. Нет, не зря, не напрасно Денис всегда почему-то недолюбливал этих драгун!.. Он попросит Женю вернуть письма, скажет, что у него нет теперь будущего, а «осталось только прошлое, и всё оно заключается в письмах, которые я писал вам в течение двух с половиной лет счастья». Золотарева разрыдается: одни письма и «будут освещать и согревать мою жизнь...» Он, кажется, тоже расплачется: «Пусть будет, как вы хотите»... Но стихи – стихи бросит писать уже навсегда...

Жена, кстати, и сыновья его и через сорок лет после смерти Давыдова будут скрывать от посторонних эту последнюю страсть поэта. А значит – и стихи к «звезде» скрывать... Как это похоже на судьбу жен всех когда-либо писавших и пишущих. Ревновали к строчкам мужей даже за гробом. Настоящие, значит, были стихи, подлинные!..

«Моя жизнь — сражение!»

“*Alea jacta est*” – жребий брошен. Денис любил эти слова Цезаря. За закатной любовью его – наступил закат. Давыдов продал дом на Пречистенке, переехал жить в Верхнюю Мазу и через четыре года – умер. Ведь предупреждал всех, он не живет – горит, «как свечка»...

Сорок дней из-за распутицы, шесть недель не хоронила его Соня. Ровно столько – сорок дней! – полагалось не хоронить после смерти только царей. А я, узнав о Давыдове всё, что можно, не стал бы корить Соню – жену Дениса – за жалость к лошадям, которых не погнала в паводок, за промедление с погребением. Во-первых, она и сама казнила себя потом. Во-вторых, пережив поэта, она до смерти не позволяла никаких перемен в кабинете Дениса. Всё сохранила: перья, листы неоконченных записок, письма, том «Современника», раскрытый на статье Давыдова «О партизанской войне», и, конечно, портрет Вальтера Скотта, того, кто и назвал Дениса «Черным Капитаном». А в-третьих, и это, возможно, главное, – поторопись она с похоронами хоть на день, да хоть на час, – не состоялось бы этой странной и поразительной встречи, о которой я обещал рассказать. Почти мистической встречи «за гробом».

«Моя жизнь – сражение» – эта вольтеровская фраза, помните, была девизом Давыдова. У других были биография, жизнь, смерть, а у него, как у любого поэта, – судьба. Словно какая-то сила вела его, не позволяя уклониться ни от чего. И когда Россия начнет праздновать 25-летие победы над Наполеоном, именно Давыдов вспомнит о герое этой победы – князе Багратионе. И не просто вспомнит – подаст записку председателю Госсовета, в которой будет настаивать на перезахоронении Багратиона на Бородинском поле – тот был погребен в старенькой часовне в Симах Владимирской губернии. На согласование, на получение высочайшего соизволения уйдет почти год – как раз последний год Давыдова. Но он – кто бы сомневался – опять победит! Царь не только согласится с его идеей, но издаст специальный указ: прах Багратиона перенести и поручить сделать это, даже возглавить почетный конвой генерал-лейтенанту и кавалеру Денису Давыдову. И он, будьте покойны, возглавил бы, довел бы дело до конца, въехал бы во главе конвоя в Москву, а потом и довез бы гроб командира до Бородина, если бы... Если бы 22 апреля 1839 года не скончался в Верхней Мазе.

Он называл себя «гомеопатической частицей» мира. А реально стал частью событий огромных, воистину исторических. Когда через шесть недель тело «Черного Капитана» привезут наконец в Москву, то ровно в этот же день Первопрестольная под звон колоколов будет встречать и траурный кортеж – гроб Багратиона, катафалк, покрытый боевыми знаменами и усыпанный цветами. Говорят, два генерал-лейтенанта – великий полководец и великий поэт – на каком уж перекрестке Москвы и не знаю, но – пусть и в гробах – встретились-таки!.. В последний раз встретились.

Так было угодно небесам. Они должны были встретиться на земле. Прежде чем стать – землей.

«Утраченный рай», или Роковой поединок Федора Тютчева

*Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной,
Когда их приподымешь вдруг
И, словно молнией небесной,
Окинешь безло целый круг...*

*Но есть сильнее очарованья:
Глаза, потупленные ниц
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огонь желанья.*

Федор Тютчев



Тютчев Федор Иванович (1803–1873) – великий русский поэт, член-корреспондент Петербургской академии наук по отделению словесности, а также – камергер, тайный советник, председатель Комитета иностранной цензуры. В истории русской литературы остался не только как автор любовной и философской лирики, но и как политик и публицист, написавший статьи «Россия и Германия», «Россия и Революция», «Россия и Запад».

Я миллион раз проходил мимо этого дома. Невский проспект, тысячи машин, десятки тысяч шаркающих ног. Но если правда, что время не исчезает, что наши предки живут и при нас, если, наконец, у вас есть хоть чуточка слуха, вы рано или поздно откуда-то сверху услышите прелестный женский голос, который каждый день, ближе к вечеру, вот уже полтора века произносит одну и ту же фразу: «Любимый! Накинь плед. Я тебе помогу!..»

Этими словами там, на четвертом этаже дома (**С.-Петербург, Невский пр-т, 42**), на последней, семьдесят восьмой, ступеньке лестницы – все целы и поныне! – провожала на ежедневную прогулку (и в зыбь жары, и в осколочный холод!) седая красавица седого встрепанного

старика. Красавицу звали Эрнестина, а старика в зеленом клетчатом пледе – Федором Тютчевым. Да, где-то здесь у этого дома, где вдоль Невского еще росли деревья, стояла любимая скамья поэта, куда к концу жизни он любил выходить посидеть, погреться на солнце, почитать газеты. Но главное – вновь и вновь насладиться этим, может, самым интересным зрелищем – толпой. Вечным театром по имени Мир...

«Есть люди, которые так страстно любят театр, что готовы подвергать себя лишениям, – напишет о Тютчеве князь Гагарин. – Его не привлекали ни богатство, ни почести, ни даже слава. Самым глубоким, самым заветным его наслаждением было наблюдать зрелище, которое представляет мир». А другой князь, Долгоруков, единственный, кажется, недоброжелатель его, словно добавит: «Есть люди, которые устоят против искушений денежных, люди неподкупные, но которыми можно завладеть вежливостью, ласками, лестью и, в особенности, ежедневным собеседничеством. Федор Иванович принадлежит к числу людей... которых купить нельзя, а приобрести можно...»

Ну-ну! Приобрести?! Его, самого свободного человека в несвободном мире, вольное сердце среди сердец, скованных обычаями и предрассудками? У него, например, было две жены, от коих было шесть детей, две долгие связи, от которых было еще пять детей, и кроме того – четыре больших романа. Но ни одна из этих женщин, ни даже седая красавица с четвертого этажа, не «приобрела» его вполне и не могла, думаю, уверенно сказать: «Он мой – только мой».

Человек-загадка

«Любимый» – именно так звала его под конец жизни вторая жена – Эрнестина. Еще звала «чаровник». «Чаровник – счастливый человек, – писала дочерям, – ибо все от него в восторге». Но брату в Германию, с которым была прямой, напишет иначе: «Это – человек разочарований». Странно, да? Очаровывал, но сам терпел разочарование. Разочарованный чаровник!..

Дом на Невском был известен и до Тютчева. Он и сосед его, дом-близнец, и церквушка, будто сестра, глянувшая из-за плеч братьев, – всё это дело рук Фельтена, автора знаменитой решетки Летнего сада. Лазурный ансамбль этот на главной улице возник за полвека до появления здесь Тютчева. А за четверть века до него здесь в бельэтаже поселился (и об этом вторая доска на фасаде) великий Сперанский. Тот, кому декабристы мечтали доверить правительство новой России и кого после восстания царь иезуитски включил в Следственную комиссию по «Делу о 14 декабря». Судил Сперанский и близкого друга – поэта и подполковника Батенькова, который годами жил здесь у него и которого суд приговорит к двадцати годам каторги. Дочь Сперанского напишет потом, что отец плакал ночами, возвращаясь с заседаний. Судил ведь друзей, ведь к нему и к Батенькову приходили сюда и Рылеев, и Бестужев-Марлинский. Впрочем, стихи в бельэтаже будут звучать и после, ибо уже к дочери Сперанского, которая станет держать здесь литературный салон, будут заезжать Пушкин, Жуковский, Вяземский, даже Мицкевич. А в 1854-м тут, под самой крышей, поселится Тютчев и проживет без малого – двадцать лет. Жене Эрнестине, Нести своей, наняв здесь квартиру в четырнадцать комнат, с паркетом и лестничным освещением, напишет: она может теперь, как хотела, «парить на высоте над докучной толпой». Парила, видать! Но ведь и сам он, живя здесь, взлетел над толпой как никогда – выше не бывает! Действительный тайный советник, три ордена – Святых Владимира, Станислава и Анны (таких чинов и наград после Державина не получал ни один поэт), камергер, личный друг царя, две дочери – фрейлины. Но, с другой стороны, иные биографы поэта грустно констатируют ныне: он оказался незадачливым дипломатом, так и не ставшим послом; пророком, чьи вещания так и негодились миру; поэтом, издавшим лишь два небольших сборника, последний из которых и через десять лет после его смерти оставался нераспроданным; политиком и философом, который за семьдесят два года жизни так и не привел в систему свои воззрения, и, наконец, – любовником и мужем, который приносил женщинам, увы, одни несчастья.

Загадок в жизни Тютчева много. Пишут, что в принципе невозможно разгадать «загадку, заданную этим человеком мировой культуре». Родная дочь и та сомневалась: человек он или все-таки – дух? Он, приобретший репутацию Кассандры, но избежавший ее участи, кому безболезненно сходили с рук такие выходки, за которые любой другой неминуемо поплатился бы репутацией, карьерой – всем, и ради кого первая жена оставила четырех своих детей, а вторая (Эрнестина) пятнадцать лет терпела сначала одну, а затем и другую побочную семью поэта, – он оставил нам тьму тайн. Но одну из них, главную тайну – почему его так любили женщины? – мы попробуем разгадать.

Окна кабинета его выходили на Невский. Известно: там стояло «длинное кресло», в котором он спасался от подагры, камин, перестроенный из печки, а на столе – самодельная икона Федоровской Божьей Матери, как ошибочно назвал ее Иван Аксаков, зять и биограф Тютчева. На деле – икона «Взыскание погибших». Она хранится в Муранове, в музее поэта. А «самодельная» потому, что писал ее дядька-слуга – Николай Хлопов, который ходил за ним с четырех лет. Перед смертью завещал ее Тютчеву, а на тыльной стороне по углам, как узелки на память, прописал важные для обоих даты: когда приехали впервые в Петербург, когда оказались в Баварии да когда поэт получил первое звание – камер-юнкера еще. Но в одном углу написал нечто странное: «Генваря 19-го, 1825 г. Федор Иванович должен помнить, что случи-

лось в Мюнхене от его нескромности и какая грозила опасность». Речь шла о девушке, почти девочке, встреченной поэтом – тогда девятнадцатилетним служащим посольства в Германии, и, по глухим сведениям, о несостоявшейся дуэли из-за нее. Именно про эту девушку и именно Хлопов донесет матери поэта в Москву, что Феденька обменялся с нею шейными цепочками и «вместо своей золотой получил в обмен только шелковую». Как бы – прогадал. Но знал бы Хлопов, что она, первая любовь поэта, пятнадцатилетняя графиня Амалия Лерхенфельд, станет, рискну сказать, возможно, единственной любовью Тютчева. Через год именно ей, внебрачной дочери короля Фридриха-Вильгельма III, побочной сестре русской императрицы, одной из первых красавиц Европы, которой будут восхищаться Гейне и Пушкин, в которую скоро влюбятся Николай I и баварский король Людвиг I, Тютчев сделает предложение. Она, тоже влюбленная в него, согласится, но восстанет ее родня; ей подберут мужа – тоже дипломата, сослуживца поэта, «пожитого» уже барона, с которым у нашего наглеца едва не вспыхнет дуэль. А Амалия? Амалия на всю жизнь останется добрым ангелом поэта. Не раз будет выручать его – распутывать, образно говоря, те самые узелки жизни его. Первой отвезет Пушкину его стихи, первой будет знакомить его с нужными людьми, с тем же Бенкендорфом, а однажды вообще спасет его едва не от Сибири. Это ведь про нее у него, уже женатого вторично, отца брачных и внебрачных детей, вырвется как-то в письме: «После России это моя самая давняя любовь». И это она, ровно через полвека после первой встречи, придет в дом на Невском к парализованному уже поэту. За три месяца до смерти его придет. И поэт в разметавшихся на подушках космах – чаровник, остряк, вечный насмешник! – неожиданно расплачется.

Да, в доме на Невском развязывались его «узелки». А потом грянул первый «удар» – инсульт, когда он прошелестит: «Это начало конца». В тот день, 1 января 1873 года, он, вышедший к любимой скамье на Невском, впервые не поднимется к себе. Его, рухнувшего на землю (отнялась левая часть тела), внесут наверх на руках. За четыре дня до этого он, узнав о кончине Наполеона III, схватится за перо, чтобы написать стихи об этом, и, к ужасу своему, вдруг поймет: ни звуки, ни рифмы не слушаются его. Считается, это и стало предвестником инсульта. Последним «узелком» жизни. А ведь завязывались они, взлеты и падения его, может, в тот московский день, когда он, подросток еще, услышал и запомнил: счастье, предназначение человека, о котором мечтает каждый, то, ради чего Бог, кажется, и создал нас, – отнюдь не цель жизни. Вообще – не цель!.. Но что тогда – цель? Вот загадка загадок...

«Аллея Тютчева»

О счастье заспорили в Москве родители Тютчева с поэтом Жуковским. Спорили у Чистых прудов, в доме Тютчевых (**Москва, Армянский пер., 11**). Этот почти дворец с кованой лестницей, с медовым паркетом в парадных залах сохранился – в нем ныне Детский фонд и небольшой музей поэта.

Тютчевы, наезжая в Москву из Овстуга, из своего имения в Орловской губернии, жили сперва в доме тетки матери поэта Анны Васильевны, жены графа Ф.А.Остермана (**Москва, Малый Трехсвятительский пер., 8**). Потом, когда тетка умерла, родители продали завещанный им дом и купили свой – в Армянском. Сыну их тогда только-только исполнилось семь лет. И тогда же он впервые увидел (мог увидеть!) Сашу Пушкина.

По странным все-таки, по чудным законам живет, дышит нам в спины история. Вот есть Москва, есть семилетний Федя Тютчев и одиннадцатилетний москвич Саша Пушкин. Они сами не знают еще – кто они. На дворе 1810-й! И вот они, два великих поэта, чьи пути не пересекутся ни разу, два родственника по линии Толстых (тот же Лев Толстой был ведь четвероюродным внучатым племянником Пушкина), вдруг, не видя друг друга, встречаются. На детском балу, куда знатные семьи водили отпрысков. Эту версию высказал Вадим Кожин в книге о Тютчеве. И назвал место: в доме князей Апраксиных-Трубецких, в «дворце-комоде», который и ныне стоит у Покровских ворот (**Москва, ул. Покровка, 22**). Здесь Пушкин, его привозили сюда из Лефортова (**Москва, Госпитальный пер., 1–3**), делал первые па, и здесь вполне мог наблюдать за ним глазастый Тютчев. Его тоже возили сюда. А в доме князя Ф.С.Одоевского, музыкального критика и отца будущего писателя Владимира Одоевского, товарища Тютчева по учебе, где молодой Тютчев несомненно бывал (**Москва, Малый Козловский пер., 1–5**), Пушкин с родителями, еще до всяких детских балов, попросту жил. Дом Одоевских не сохранился, но – каковы совпадения! Ведь Одоевский и напишет потом тот некролог Пушкину – «Солнце нашей поэзии закатилось...»

Тютчев вырос в Армянском переулке. Отсюда ездил в Благородный пансион при университете (он стоял на месте Центрального телеграфа), сюда, в синем мундирчике с малиновым воротником и при шпаге, когда стал студентом университета, приводил приятеля и будущего историка Михаила Погодина, и здесь за семейным столом, празднуя с родителями приезд в Москву друга семьи, уже знаменитого поэта Жуковского, услышал тот спор о счастье. Это случилось 28 октября 1817 года. Жуковский запишет в тот день: «Обедал у Тютчева. Вечер дома. Счастье не цель жизни». Тютчеву было тринадцать, но, видать, сильно волновал его этот вопрос – ради чего стоит жить. Он ведь и через двадцать лет, уже в Италии, напомним Жуковскому: «Не вы ли сказали где-то: *в жизни много прекрасного и кроме счастья*. В этом слове, – добавит, – целая религия, целое откровение...» Предполагаю, будоражило само слово «счастье». Ведь у него в четырех стихотворениях (от первых, написанных в 1820-х, до предсмертного в 1873-м) я нашел – с ума сойти! – (этого не заметил, кажется, ни один исследователь!) четыре строки, которые начинались одинаково – с этого слова: «Счастлив, кто гласом твердым, смелым...», «Счастлив, кто посетил сей мир...», «Счастлив в наш век, кому победа...», «Счастлив, кому в такие дни...» Вот – что это? Проговорки? Подсознание, тайная жажда счастья, данного другим? Или все-таки – подавленный стон вечно несчастного? Но я, признаюсь, чуть не ахнул, когда в дневниках Погодина, друга, прочел вдруг про юность Тютчева, про дом в Армянском: «Смотря на Тютчевых, – записал Погодин, вернувшись в свою каморку во флигеле знаменитого дворца графа Ростопчина, где жил тогда (**Москва, ул. Большая Лубянка, 14**), – думал о семейственном счастье. Если бы все жили так просто, как они...» Погодин, сын дворового человека, жил бедно. Но, сравнив его слова с тем спором о счастье, как не поду-

мать: когда в доме витает истинное счастье, тогда оно и впрямь – не цель. Тютчев ведь вырос в счастливой семье. Но есть ли счастье там, где царит талант? Пусть даже и талант самой жизни?

Вообще родители поэта были небогаты, но – родовиты. Мать Тютчева была урожденной Толстой, благодаря чему ее сын окажется шестиюродным братом Льва Толстого, а отец – тот вел род от «хитрого» боярина Захара Тютчева. По другим сведениям – от Тетюшкова, такой была фамилия предка. Тот упоминается в Никоновской еще летописи как воин, которого сам Дмитрий Донской перед Куликовской битвой подсылал к Мамаю «со множеством золота и двумя переводчиками для собрания нужных сведений». Тоже был, выходит, дипломат. Не отсюда ли, как уверяет уже нынешний биограф, и «независимое поведение» поэта, и знание природы людской, и прозорливость? Но – не поверите – поэта вообще могло не быть, если бы деда его, капитана Николая Тютчева, убила бы, как грозились, одна страстная помещица из Теплого Стана. Террористка первая! Знаете, кто? Салтычиха! Та самая Дарья Салтыкова, о которой знает ныне каждый школьник, за которой в те далекие времена числилось чуть ли не сто тридцать замученных до смерти крепостных и чье имя ныне внесено в список десяти самых жестоких женщин мира.

Еще недавно эта сумасшедшая история излагалась так. Якобы капитану Тютчеву (он был землеустроителем) было поручено провести топографическую съемку деревень Теплого Стана и села Троицкого – примерно там, где на картах современной Москвы располагается некая странная «Аллея Тютчева». Там, в Троицком, капитан и повстречался с хозяйкой его, Дашей Салтыковой, двадцатипятилетней вдовушкой. Историки еще вчера писали, что все зверства ее (а Салтычиха только по официальному обвинению замучила тридцать семь крепостных) шли, пардон, от сексуальной неудовлетворенности этой не знавшей грамоты, но богатырского сложения и пылких чувств помещицы. Запороть до смерти любого из шестисот крепостных ей не стоило ничего. Особо цеплялась к девицам, которые умирали под плетями за плохо выстиранное белье и недомытые полы. Молва же гласила: «Извела 139 человек и лакомилась в качестве жаркого грудями запоротых по ее приказу девушек». А «залюбить» могла до могилы; документы сохранили даже имя крестьянина – Ермолая Ильина, у которого она подряд убила трех жен, велев присыпать трупы землицей в ближайшем леске. И почти сразу будто бы влюбилась в капитана-землеустроителя. Да как! Небесам жарко! А когда Тютчев вздумал посвататься к соседке ее, к Пелагее Панютиной, Салтычиха – «изверг рода человеческого!» – подослала конюха с пятью фунтами пороха взорвать городской дом соперницы у Покровских ворот. «Чтоб оный капитан Тютчев и с тою невестою в том доме сгорели...» Такие вот не африканские – русские страсти! Мину под затрепу конюх подсунул, а поджечь не решился, за что обезумевшая Салтычиха била его батогами. По счастью, крестьяне исхитрились подать бумагу взошедшей на престол Екатерине II, и она, учинив расследование, арестовала Салтыкову в ее московском доме – он стоял, кстати, на месте нынешней приемной ФСБ (**Москва, Кузнецкий Мост, 22**) – и заперла мучительницу в подземной тюрьме Ивановского монастыря (**Москва, Малый Ивановский пер., 2**). Посадила на тридцать три года, где «извергиня» вроде бы родила ребенка от караульного и испустила дух ровно за год до рождения внука капитана – нашего поэта. А капитан, женившись на Панютиной, не только вдруг разбогател, но – прикупил и Салтычихино село Троицкое, и деревню Теплый Стан.

Повторяю, так история излагалась буквально до 2000-х годов. При царях она в такой «редакции» была выгодна тем, что устрашала жадных до земель помещиков, а при власти советской – кочевала из книги в книгу, как «картинка» жестокости крепостничества. Оно, конечно, было жестоко (кто ж спорит), но в истории с Салтычихой всё выглядело не совсем так. Или – совсем не так. Об этом говорит опубликованное не так давно дело Дарьи Николаевны Салтыковой, кстати, по мужу, – дальней родственницы царей.

Начнем с того, что никакого романа между Салтыковой и Тютчевым не было. Они были не просто в родстве – они были дважды родственниками. Не только старшая сестра Дарьи,

Аграфена, была замужем за действительным статским советником Иваном Никифоровичем Тютчевым, но мать сестер (и Аграфены, и Дарьи) Анна Ивановна Иванова была урожденной Тютчевой. То есть Дарья, вышедшая замуж за ротмистра лейб-гвардии конного полка Глеба Салтыкова, который умер, оставив жене двух сыновей, была двоюродной сестрой капитана Тютчева. Но, в отличие от последнего, благодаря деду, хитрому и ловкому царедворцу Автоному Иванову, – несметно богатой. От деда ей достались поместья в Московской, Вологодской, Костромской губерниях. И бриллиантом в ее наследстве сияло богатое село Троицкое, за которое со времен Петра I шла яростная борьба. А по соседству с Троицким обосновалась маленькая усадьба Тютчевых, в которой и проживал родственник Анны Ивановны – тридцатилетний красавец Николай Тютчев, наш капитан и – дед поэта.

Никакого романа с Дарьей у него не было еще и потому, что ей к тому времени было уже под сорок (а не двадцать пять лет), а кроме того, она была глубоко религиозной женщиной и ей было не до любовных дел. Дело было одно – у нее все хотели непременно отобрать Троицкое. И в первую голову хотел этого крутого нрава капитан Тютчев. Война, короче, разгорелась страшная. До сих пор неясна роль капитана в том, что летом 1762 года в Петербурге появились вдруг два беглых крепостных Салтыковой – Ермолай Ильин (да-да, тот самый, у которого Салтычиха якобы убила трех жен, хотя, как установят потом, он сам их и убил) и Савелий Мартынов. Вот они и подали на имя Екатерины II жалобу на «смертоубийственные дела» помещицы: «Душ до ста... ею, помещицею, погублено». Ныне дело Салтыковой опубликовано (его вели надворный советник Волков и его помощник князь Цицианов), и из него ясно: беглецы обвинили Дарью в смерти семидесяти пяти человек (в большинстве своем без свидетелей), и что сами же крестьяне и участвовали в преступлениях хозяйки. Заранее скажу, Дарья Салтыкова, даже под угрозой пытки, ни в одном убийстве не созналась. Да и тела тридцати восьми крепостных, смерть которых была якобы установлена, не были найдены ни в Агурцевом овраге в Троицком, ни где-либо еще. Сомневались в ее преступлениях и за помилование ее выступили Мусины-Пушкины, Толстые. Но императрица, которой было выгодно с такого шага начать свое царствование, отстранила Дарью от управления имуществом, арестовала и учредила следствие. Кстати, бравый капитан с началом следствия убежал с Панютиной из Москвы под охраной двенадцати дворовых. Была ли попытка взрыва дома его – неизвестно. Шла война за имущество, а не за жениха, тут всё могло быть. Известно лишь, что следствие шло шесть лет и когда Дарью, приговоренную к смерти, одетую в белый саван, с табличкой на шее «Мучительница и душегубица», приковали на Красной площади к позорному столбу, когда Москва повалила смотреть на нее («многих передавили и карет поломали довольно»), когда летело в нее дерьмо и комья грязи, наш капитан, имевший до того лишь сто шестьдесят крепостных, вдруг дико разбогател, отстроил свое имение Овстуг и завел там и каскадные пруды, и регулярный парк. Да, Салтычиха гнила в тюрьме (Екатерина заменила ей казнь на пожизненное), а дед поэта, извернувшись, сначала банкротил ее имущество, а потом и завладел и Троицким, и Теплым Станом. Рейдерский захват, если по-нашему. Короче, когда через год после смерти Салтычихи в семье Тютчевых родился поэт, сам клан Тютчевых, начиная с бабки его, Пелагеи Панютиной, владел уже тремя тысячами крепостных и... «бриллиантом» в своем богатстве – Троицким, где бывали позже и Жуковский, и Аксаков. Троицкое, кстати, продал потом сам поэт, но уже в 1829-м. Так что неслучайно, нет, неслучайно возникла на карте «Аллея Тютчева». И неслучайно так долго жила легенда о «несчастной любви» Салтычихи к деду поэта, прикрывая не слишком благовидные дела его. Страшно сказать, но нечто похожее будет происходить и в жизни поэта...

Да, счастье не цель, как сказал Жуковский, но одна любившая Тютчева женщина чуть не заколет себя кинжалом на площади, а другая, ради счастья, едва не убьет его, швырнув в него тяжеленное пресс-папье. Словом, страсти и дальше будут бушевать вокруг поэта едва ли не

африканские. Но вот за что, спросите, женщины будут именно так любить поэта – вот вопрос? Ответ один: «любил любовь», – так напишет о нем его современник...

Любить — любовь...

Катастрофа случилась 20 марта 1836 года. В тот день Элеонора, первая жена поэта, пыталась убить себя. Несколько раз ударив себя ножом, она, обливаясь кровью, выскочила на улицу, пробежала метров двести и на центральной площади Мюнхена упала без чувств. За час до того Тютчев, нежно поцеловав ее, сказал: он идет «обедать в городе». Но куда отправился – к друзьям или к «той» женщине, Элеонора не знала. Просто ушел, оставив ее с тремя дочками, самой младшей было пять месяцев. Всем – и ей, конечно, – было известно: у мужа вот уже три года длится связь с черноглазой вдовушкой, с Эрнестиной Дёрнберг... Шел четырнадцатый год жизни Тютчева в столице Баварии. И вот из-за этого скандала, почти самоубийства он мог стать последним годом в карьере секретаря русской миссии, едва сменившего мундир камер-юнкера на роскошный, шитый золотом мундир камергера.

Из письма Тютчева – князю Ивану Гагарину: *«Моя жена... рассказала, что через час после моего ухода она почувствовала как бы сильный прилив крови к голове, все ее мысли спутались, и у нее осталось только сознание неизъяснимой тоски и непреодолимое желание освободиться от нее... Принявшись шарить в своих ящиках, она напала вдруг на маленький кинжал, лежавший там с прошлогоднего маскарада. Вид стали приковал ее внимание, и в припадке полного исступления она нанесла себе несколько ударов в грудь... Истекая кровью и испытывая ту же неотвязную тоску, она спускается с лестницы, бежит по улице и там, в 300 шагах от дома, падает без чувств...»*

Тютчев намекает чуть ли не на горячку послеродовую и просит друга, чтобы тот, если кто-то «вздумает представить дело в более романтическом... освещении», опровергал бы эти «нелепые толки». Чуял, что дело могло обернуться крахом всего: жизни за рубежом, положения, карьеры. Он лишь не знал, что именно в день трагедии дядя Гагарина, посланник в Баварии и начальник Тютчева, отошлет письмо министру иностранных дел России Нессельроде, в котором попросит вывести Тютчева из его «пагубно-ложного положения, в которое он поставлен своим роковым браком». «При способностях весьма замечательных, при уме выдающемся... г-н Тютчев не в состоянии ныне исполнять обязанности секретаря миссии, – напишет. – Во имя христианского милосердия умоляю ваше превосходительство извлечь его отсюда, а это может быть сделано лишь при условии представления ему денежного пособия в 1000 рублей для уплаты долгов...» Я, начав читать это, решил было, что начальник защищает его, но, увы, в конце письма он прямо просит министра прислать ему помощника, «ибо от г-на Тютчева уже нечего ожидать...». При способностях, при уме и – нечего ожидать... Впрочем, чтобы разобраться в этом, может, самом тугом узле жизни поэта, надо вспомнить, как начиналось всё, как Тютчев превратился в дипломата и камергера.

На службу в Коллегию иностранных дел Тютчева пристроил троюродный брат матери поэта одорукий граф Александр Остерман. Когда на семейном совете было решено «пустить» Федю по дипломатической части, то отец его, подхватив сына, привез его в Петербург в дом Остермана. Здание это и ныне стоит на Неве (**С.-Петербург, Английская наб., 10**). 5 февраля 1822 года они переступили порог этого дворца, а уже через две недели восемнадцатилетний выпускник Московского университета был зачислен на службу в качестве чиновника двенадцатого класса. Покровительство, чистый блат по-нашему. Ведь граф Остерман фигурой был легендарной: герой Измаила, командир корпуса при Бородине, он через год, в сражении при Кульме, потерял руку. Пишут, что, когда ядром ему ожгло ее, он приказал отрубить ее, дабы продолжить бой. Были еще славные люди в родном Отечестве. Вот он не только рекомендовал заведующему Коллегией иностранных дел Карлу Нессельроде своего племянника на должность сверхштатного чиновника русского посольства в Баварии, но и пообещал лично отвезти его туда. Но три месяца Тютчев роскошествовал во дворце дяди, тогда одним из луч-

ших в столице. Не жизнь – блеск! А Иностранная коллегия находилась в двух шагах от Остермана (**С.-Петербург, Английская наб., 32**). Дом тоже сохранился – смотрит на Неву колоннадой Кваренги. Тут за пять лет до Тютчева привели к присяге семерых лицеистов и среди них Пушкина, Горчакова, Кюхельбекера, а также поступившего сюда чуть раньше Грибоедова. Теперь же в Коллегии Тютчев подружится с такими же молодыми людьми, как и он, у которых вполне мог бывать и дома. С Корниловичем, будущим декабристом (**С.-Петербург, ул. Итальянская, 13**), с Воейковым, который станет редактором газеты «Русский инвалид» и напечатает переводы его (**С.-Петербург, Невский пр-т, 64**), с Петром Плетневым, тоже поэтом и будущим ректором университета (**С.-Петербург, Московский пр-т, 8**). Жаль, с Пушкиным не пересекся, а так – три месяца жизни над Невой, белые рассветы в богемских окнах, личные ложи графа в театрах, отданные Тютчеву, и – совсем нетягостная служба, больше похожая, как сказал бы Набоков, на «настоя счастья». Досаждали лишь дежурства раз в месяц; надо было приносить с собой не только обед, но подушки и одеяла, которые на ночь раскладывали прямо на столах Коллегии.

В Германии Тютчев проживет двадцать один год. Родителям напишет: «Странная вещь – судьба человеческая. Надо же было моей судьбе вооружиться уцелевшею Остермановою рукою, чтобы закинуть меня так далеко!..» Увы, трехнедельная поездка его в карете Остермана до Мюнхена, кажется, была последним даром графа; тот скоро впадёт в немилость к новому императору и навсегда останется в Швейцарии. А Тютчев, не достигший на дипприще ничего, кроме золотого мундира (первые шесть лет вообще работал без зарплаты), именно там, в Мюнхене, и без Остермана найдет покровителей.

Первой станет Амалия, первая любовь, которая и поможет ему «выйти сухим» в истории с маскарадным кинжалом. Хотя женился он на Элеоноре Петерсон, урожденной графине Ботмер, кажется, как раз из-за Амалии. Та, любящая его, была, как я говорил уже, выдана замуж за сослуживца поэта Александра Крюднера, который был старше ее на двадцать два года. Ведь кто был Крюднер: богатый барон, ставший первым секретарем русской миссии в Мюнхене, а потом и послом. А Тютчев? Сверхштатный чиновник миссии, которому доверяли лишь «держат журнал», «делать конверты без ножниц» да «белить» депеши в Россию (у него был чудный почерк). Но, когда, вернувшись из отпуска, поэт узнал, что Амалию выдали замуж, тогда-то едва и не случилась его дуэль с Крюднером. Короче, чуть ли не впопыхах он женится на Элеоноре Петерсон, отменной красавице, конечно, но ведь и вдове с четырьмя детьми. Ему двадцать два года, ей – двадцать шесть. А кроме того, брак был тайным; Элеонора была лютеранкой. «Тайной» свадьбу назвал даже Генрих Гейне. Да, не удивляйтесь, Тютчев, скучаяще лепивший конверты, сразу подружится и с Шеллингом («Это превосходнейший человек, – отзывался тот о Тютчеве, – очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь»), и с братьями Шлегелями, и с Гейне, который запросто забегал к нему. Гейне назовет потом Тютчева своим «лучшим другом» и будет вспоминать, как коротал вечера в доме поэта и развесив уши внимал каким-то байкам его «о привидениях». Они разойдутся потом – практичный немец попытается использовать Тютчева в своих целях, как использовал почти всех. Читайте книгу Лежнева «Два поэта (Тютчев и Гейне)», написанную в двадцатых годах прошлого века, там всё сказано про отличие русских от немцев. Позже Тютчев простит Гейне и даже навестит его, уже больного, в его парижской квартире (**Париж, ул. Амстердам, 54**). Сам он, по моим подсчетам, семь раз побывает в Париже. Не знаю, где венчался с Элеонорой, но уже в мае 1827-го жил на улице Артуа (**Париж, ул. д'Артуа, 21**), а в 1844-м, уже с Эрнестиной, второй женой, останавливался на Сент-Оноре (**Париж, ул. Сент-Оноре, 383**).

Решительная Эрнестина ворвалась в жизнь Феде – Теодора, как звали его в Германии – почти мистически. Не разлюбив Элеонору, не оставляя ее еще долгих шесть лет, он влюбится в «новый предмет» без памяти. Этот «трюк» будет повторяться у него еще много, много раз. Он ведь всегда был влюблен сразу в двух, а то и в трех женщин. Причем пресерьезно влюб-

лен. Карьера, политика, дети, ордена, даже стихи, к которым относился едва ли не наплева- тельски, – всё отходило на второй план. На первом была любовь. Сын его и тот напишет: отец и впрямь «мог искренне и глубоко любить... и не только одну женщину после другой, но даже одновременно...»

Так случится и с Эрнестиной. А «мистика» состояла в том, что она, урожденная баро- несса Пфедфель, двадцатитрехлетняя балованная игрушка баварского света, была чуть ли не «вручена» Тютчеву ее мужем, бароном Дёрнбергом. Тот зимой 1833 года привез ее в Мюн- хен. «Было время карнавала, а маменька любила танцевать и пользовалась большим успехом. Ее приглашали на малые балы к королю Людовику», – сообщит дочь ее. И вот на одном из балов барон, почувствовав себя дурно, решил уехать. Жену отыскал рядом «с каким-то моло- дым русским». Сказав, что не хочет ей портить вечера, что уедет один, повернулся к молодому человеку: «Поручаю вам мою жену». Этим русским и был Тютчев. А барон – перст судьбы! – приехав домой, слег и уж больше не встал. Тиф. С того дня и закрутился роман Теодора и Эрнестины. Ну, может, флирт, шашни, которые длились на глазах света три года. Было от чего схватиться Элеоноре за кинжал.

Эрнестина, утверждают ныне, была умней и образованней Элеоноры. Но Элеонора любила поэта. Ради него, повторю, отказалась от сыновей от первого брака, отдала их родне. Ведь за год до смерти ее, после одиннадцати лет совместной жизни, он писал про нее родите- лям: «Никогда ни один человек не любил другого так, как она меня... не было ни одного дня в ее жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня». Да и он любил ее. Он же, вообразите, когда потерял ее, поседел в одну ночь. И через двадцать лет сравнивал ее с «солнечным лучом» и называл – «утраченным раем». Наконец, он чуть с ума не сошел, когда незадолго до смерти ее узнал: пароход «Николай I», на котором она возвращалась с детьми (младшей два года) из России, сгорел и затонул. Жуткая история! Она и станет предвестием смерти первой жены поэта.

Тютчев сначала прочел в газетах лишь о гибели парохода и несколько дней (где вы, мобильные телефоны?) не знал: спасся ли кто? Лишь получив письмо от жены – считайте, с того света! – узнал: и она, и дети живы, погибли лишь бумаги, деньги и вещи. Впрочем, саму Элеонору, его Нелли, уже ничто не могло спасти. Через три месяца от простуды и нервов она скончалась. Тогда-то, в тридцать четыре года, поэт и поседел! Анне, дочери, скажет потом, что жить не хотел, ибо «как жить без головы на плечах...» Любил! Но ровно через четыре месяца в Генуе, и вновь – тайно, обвенчался с Эрнестиной. Более того, родителям в письме назовет ее существом, «лучшим из когда-либо созданных Богом». Тоже – любил, и тоже – искренне.

Да, на первом месте у поэта царил любовь. Любил любовь. И не отсюда ли некая жен- ственность его натуры? Он ведь не только молился на встреченных женщин, не только ставил себя ниже любой, он всё время ощущал себя не мужем, а как бы сыном своих возлюбленных. Я приведу две фразы его, которые нарочно ставлю рядом, хотя они, казалось бы, о разном. В письме Эрнестине через три года после обручения напишет: «Твои слова – *милий, малыш, уродец* и т.д. – беспрестанно звучат у меня в ушах... Ах, Боже мой, как можно быть таким ста- рым, таким усталым от всего, и в то же время чувствовать себя ребенком, только что отнятым от груди? Мне решительно необходимо твое присутствие...» А вторая фраза сказана, когда он достиг всего, что можно, но – высоким женским покровительством. Эти слова напишет, когда в сентябре 1858 года уже вторую их дочь – Дарью – назначат фрейлиной. «Назначение, – усмехнется в письме жене, – возбуждает много зависти и еще больше утвердит свет в его высо- ком мнении о пронырливости, отличающей всю эту семью интриганов, главой которой я имею честь состоять»...

Проныра, интриган! Он иронизирует, но, как ни грустно это писать, во многом напрасно. Он ведь всю жизнь искал покровительства женщин, знал «ходы» к ним, умел нравиться. Даже Эрнестину наставлял: «Бываешь ли у графини Нессельроде? Делай это, прошу. Это для меня

существенно...» Вражда этой фурии, жены главного начальника его, министра иностранных дел, была страшно опасна, а дружба – «до ослепления охранительна». Мы-то знаем: Нессельродиха ненавидела Пушкина, терпеть не могла Лермонтова, а вот с Тютчевым – как-то сошлась. Скажу больше: его едва не хватит удар, когда она вдруг умрет. «Мой муж стал сиротой», – напишет Эрнестина. Конечно, комплекс – привет Фрейду! – конечно, поиск защиты безмятежной жизни и невольных «сумасбродств». И как плата – компромиссы да помятое тщеславие. Поэт среди дипломатов, он окажется и дипломатом среди поэтов. Помните слова: купить его нельзя – приобрести можно? Чем? Да покоем душевным, за каплю которого был готов отдать полжизни, комфортом, благами цивилизации, возможностью видеть мир и читать любые книги, необременительными обязанностями, изысканным обществом прелестных женщин и умных мужчин. Что еще нужно неглупому, талантливому человеку? А компромиссы... Да шут с ними! Кто вообще узнает про них, пока не повернется со скрипом захватанный, заляпанный тысячами рук калейдоскоп истории?..

Из «конфуза с кинжалом» выпутался благодаря Амалии. Выпутался? Вместо наказания его, напротив, сначала произвели в надворные советники (чин подполковника), а затем через год назначили старшим секретарем при русской миссии в Турине, в Сардинском королевстве. «Сбыча мечт» – первый самостоятельный пост. Более того, там, в Турине, его делают вдруг и о.о. поверенного в делах – главная должность пусть и в крохотной миссии. Но там-то и случится гораздо более скандальная история – то преступление, за которое ему будет грозить чуть ли не Сибирь.

Хроника событий такова. 27 августа 1838 года умирает Элеонора – жена поэта. 27 ноября 1838-го Тютчев и Эрнестина принимают решение жениться (тайная помолвка совершается через месяц, в декабре). Тогда же Тютчев, уже глава миссии в Турине, где, кроме него, не было, кажется, ни одного служащего, испрашивает у Нессельроде, министра, и разрешение на брак с Эрнестиной, и отпуск. 22 апреля 1839 года тот разрешает жениться, но отпуска не дает – велит ждать смену. Но Тютчев ждать не намерен. Захватив шифры и важные документы, он запирает миссию и, в суматохе путешествий (Италия, Швейцария), а потом и свадьбы, теряет и бумаги, и – кошмар – шифры. Дело, натурально, подсудное. Минимум лишение дворянства. Но наглец не только не ждет суда – он после положенного четырехмесячного отпуска сам продляет его себе еще на пятнадцать месяцев. И всё сходит с рук. Чудеса! Не было даже расследования. Лишь 30 июня 1841 года Нессельроде за непоявление поэта из отпуска, за отлучку в два с лишним года (!) увольняет его. Тогда же его лишают звания камергера. За это время он успел жениться на Эрнестине, родить дочь Марию, а через год и сына Дмитрия. Но, главное, за это время он успел кое с кем познакомиться. Сначала с наследником престола цесаревичем Александром, затем с любимой дочерью Николая I – великой княгиней Марией Николаевной и, наконец, с дочерью Павла I – Марией Павловной, великой герцогиней Саксен-Веймарской. Проньера? Не знаю, что и сказать. Надо было как-то жить – вот, кажется, единственное объяснение его светской, скажем так, ловкости.

С цесаревичем его познакомил Жуковский, сопровождавший наследника в путешествии по Италии. В результате наследник «очень полюбил» поэта и, как напишет в Москву брат Тютчева, «был так добр, что обещал свою протекцию в случае, если она понадобится». Недаром Нессельроде вмиг изменил свое отношение к поэту и посулил в обозримом будущем хорошее место. С Марией Николаевной, дочерью Николая I, Тютчева знакомят осенью 1840-го года на курорте под Мюнхеном. Эту «взял» стихами, и в несколько дней между ними установились самые теплые отношения. Потом, когда почти запросто станет бывать в ее дворце (С.-Петербург, Исаакиевская пл., 6), обращался уже к ней, как скажет, не как к царственной особе – «как к женщине». Один из исследователей (для буквалистов скажу – поэт Георгий Чулков) даже напишет, что у них был роман. Так ли это – неведомо. Но стихи, которые посвятит великой княгине, мало напоминают дежурные оды: «Живым сочувствием привета // С недо-

стижимой высоты, // О, не смущай, молю, поэта! // Не искушай его мечты! // О, как в нем сердце пламенеет! // Как он восторжен, умилен! // Пускай любить он не умеет – // Боготворить умеет он!..» Наконец, через год Тютчев будет представлен Марии Павловне, не только дочери Павла I, но сестре двух российских императоров. «Она соизволила, – напишет он, – оказать мне самый милостивый прием. В течение моего восьмидневного пребывания здесь я три раза обедал у нее и один раз провел вечер». В итоге старшая дочь его, двенадцатилетняя Анна, «была удачно пристроена при Веймарском дворе»... Какая, к лешему, Сибирь – Тютчева не только не «выключили» из службы, но вернули звание камергера. А вскоре к четырем высоким покровителям его: наследнику, двум великим княгиням и вечно любимой Амалии – присоединится пятая – цесаревна, будущая императрица. Правда, даже при таких заступниках он, собравшись в Россию навсегда, вдруг отложит возвращение на год. Просто нечаянно узнает: и его Амалия, и Мария Николаевна – великая княгиня и дочь царя – будут в Петербурге лишь через год. Без них возвращаться в Россию смысла не усмотрел...

Из письма Тютчева – жене Эрнестине: *«Жить там в ожидании чего-то, удобного судьбе, было бы так же бессмысленно, как серьезно рассчитывать на выигрыш в лотерее... У меня нет ни средств, ни, главное, охоты увековечиваться в ожидании чуда... Нет под рукою необходимых... посредников...»*

«Посредниц», рискну поправить я великого поэта. Ведь из пяти приобретенных за границей благодетелей сослался только на двух женщин. Уж не потому ли, отважусь сказать, что одна не изжила еще любовь к нему, а вторая, – я говорю о великой княгине – если верить стихам поэта, тоже, кажется, была слегка влюблена в него. Как было не любить того, кто любил – любовь? И не стихи ли стали надежным щитом его, а лесенка строф – лестницей вверх?..

«Лев» России

А ведь поэтом его никто особенно и не считал. И первым не считал себя – сам Тютчев. Одни говорят, что был равнодушен к своим стихам (граф Капнист подберет однажды забытое на столе после заседания одно из стихотворений его). Другие утверждают: замыслы были гораздо значительнее того, что выходило из-под пера. А третьи воспаряют в выси заоблачные – слишком-де был занят местом России в мире. И, кажется, не зря «воспаряют».

Дипломат, политик – вот как числил себя. Стихи были на десятом месте. Однажды в Мюнхене, в 33-м еще, бросил в печь почти всё, что написал к тому времени. Через три года, когда Гагарин, друг, попросит его прислать ему свои стихи, едва не отмахнется: «Вы просили прислать вам мой бумажный хлам». И добавит: «Я сильно сомневаюсь, чтобы бумагомаранье, которое я вам послал, заслуживало чести быть напечатанным, в особенности отдельной книжкой...» Может, оттого и другие относились к ним так же? Удивительно, но Пушкин еще в 1830-м, отмечая статью Киреевского, обозревавшего русскую словесность, напишет: «Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевырёве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим...» Про Тютчева – ни слова! А когда Гагарин, вырвавший у Тютчева подборку стихов (их и отвезет в Петербург Амалия), отдаст их в пушкинский «Современник», то особого отклика они не вызовут. «Там они и умерли», – скажет о них потом Майков, поэт. Глухо отзовется Плетнев, скажет, что Пушкин с «изумлением и восторгом» встретил их. Самарин позднее напишет: «Пушкин носился с ними целую неделю». Но ни слова самого Пушкина. Гений не заметил гения! Скажу больше: первый сборник Тютчева выйдет, когда ему исполнится пятьдесят один год. С ума сойти! А про второй и последний (за четыре года до смерти) он сам отзовется «как о весьма ненужном и бесполезном издании». О нем и впрямь появятся лишь две рецензии, а тираж, непредставимо, – тираж вообще не раскупят при жизни поэта.

Из письма Эрнестины Тютчевой – брату: *«Тютчев ненавидит писать... Эта леность души и тела, эта неспособность подчинить себя каким бы то ни было правилам, ни с чем не сравнимы... Это светский человек, оригинальный и обаятельный, но, надо признаться, рожденный быть миллионером, чтобы заниматься политикой и литературой так, как это делает он, т.е. как дилетант. К несчастью, мы отнюдь не миллионеры...»*

«Ах, писание – страшное зло, – жаловался поэт, – оно второе грехопадение бедного разума». Кокетничал? Возможно! Ибо до нас дошло 1250 писем его, из которых, стыдно сказать, лишь треть опубликована. Но если писание зло, то беседа, разговор – это святое! Любил пофилософствовать с Шеллингом, с Чаадаевым (споры их доходили порой до перепалки), поспорить с молодыми еще Тургеневым и Толстым, да просто поболтать в любом удобном месте. Из-за этого не только жена считала его лентяем – родной брат бросил в сердцах: «Какой ты пустой человек!» Было такое, и Тютчев согласится с братом – вот что поразительно! Словом, шармер, баловень общества, философ гостиных – вот поэт, вернувшийся в Россию после двадцатилетней службы. «Чаровник»! Или – «Лев сезона», как почти сразу окрестит его Петр Вяземский...

Утром 2 октября 1844 года пароход, на котором Тютчев с семьей прибыл в Россию, бросил якорь в Кронштадте. Небо было «серым и грязным» – так увидела его Анна, дочь поэта. Она морщила носик, он убеждал ее: «Ты найдешь в России больше любви, нежели где бы то ни было в другом месте... Ты будешь горда и счастлива, что родилась русской». А сам – ликовал. Родителям, выразившим надежду на продолжение им дипслужбы, отписал: «Как могли вы подумать... чтобы я... покинул Россию. Будь я назначен послом в Париж... и то я поколебался бы принять это назначение... Петербург – это... русский характер, русская общительность».

Надо сказать, что за год до возвращения в Россию с семьей он успел побывать и в Москве, и в Петербурге. Разведка боем. В Москве навестил родителей, они жили на Садовой уже, где сняли для сына трехкомнатную квартиру на первом этаже (**Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 25**). Побывал в Армянском, обнял друга Погодина в его «избе» на окраине Москвы, чудом сохранившейся до наших дней (**Москва, ул. Погодинская, 12а**), где едва не застал Гоголя и самого Лермонтова (тот три года назад, в 1840-м, читал там поэму «Мцыри»), познакомился с Чаадаевым. Видимо, бывал у Чаадаева и дома (**Москва, ул. Новая Басманная, 20**). Там-то, возможно, и начались их жаркие баталии, когда они едва не орали друг на друга. Тютчев скажет о Чаадаеве: «Человек, с которым я согласен менее, чем с кем бы то ни было, и которого, однако, люблю больше всех». А познакомился с Чаадаевым, кажется, у своей сестры Дарьи, которая к тому времени вышла замуж за Николая Сушкова и завела литературный салон (**Москва, Старопименовский пер., 11**). Салон этот в течение двадцати лет был из самых известных в России. Здесь все писали стихи: и мать Сушкова, урожденная Храповицкая, и дядя его, и сводные братья – Михаил и Петр. Племянница Николая Сушкова Евдокия – Додо, как звали ее близкие, – знаменитая Ростопчина, поэтесса, завела к тому времени и свой салон (**Москва, ул. Садовая-Кудринская, 15**). Тютчев бывал и в нем, даже посвятил Ростопчиной стихи. Тоже, кстати, знаменитый дом, тут Ростопчина принимала Дюма-отца, который посетил Москву, здесь бывал Гоголь, и здесь Ростопчина проводила уже на Кавказ Лермонтова – в последнюю ссылку.

Салоны, салоны – знамение времени! Акупунктура эпохи, средоточие острой мысли, точечных чувств. Здесь шепот, случалось, отзывался криком на всю Россию, а крик смирался до шепота. Тут возникали и низвергались авторитеты, составлялись союзы, партии по интересам. Салон Каролины Павловой, поэтессы, где в двухэтажном доме зеленого цвета, который и ныне украшает бульвар, бывали Лермонтов, Гоголь, Мицкевич (**Москва, Рождественский бул., 14**). Салон Аксаковых (**Москва, ул. Сивцев Вражек, 30а**), куда заходили Герцен, Огарев, Гоголь, Хомяков, а позже и Белинский. Салон Свербеева, который располагался в его доме на Страстном (**Москва, Страстной бул., 6**), где бывали Пушкин, Гоголь, Лермонтов и где мирно уживались славянофилы и западники. Наконец, салон Авдотьи Елагиной в Трехсвятительском (**Москва, Хоромный тупик, 4**), где Тютчев, приехавший в Москву, бывал что ни вечер. «Республика у Красных Ворот» – так величали эту почти усадьбу племянницы Жуковского и, кстати, матери братьев Киреевских, ибо здесь взмывали в небо протуберанцы ну самых крайних речей. Тут витийствовали Пушкин, Баратынский, Вяземский, Одоевский, а позже Герцен, Чаадаев, Огарев, Аксаков и Хомяков. И не здесь ли, наслушавшись противоречивых мнений о России, у Тютчева стал созревать план действий на всю оставшуюся жизнь, тот «проект», который он ринется «приготовлять» в Петербург? Да, в той еще «разведочной» поездке он уже искал пути осуществления своего «хитрого» умысла.

Начать с того, что в Петербурге, перебравшись из Москвы, он почти сразу ринется к Амалии; она с Крюднером, мужем, доживала лето в Петергофе, на даче. Вот где царил истинный *grand mond*. Здесь жила и Мария Николаевна, великая княгиня, и императрица, двоюродная, как помните, сестра Амалии, и сам Николай I, который еще недавно «крутил любовь» с Амалией, а потом, как признался, «уступил» свое место Бенкендорфу. «Деловые качества Бенкендорфа страдали от влияния, которое оказывала на него Амели Крюднер, – запишет одна из великих княжон. – Она пользовалась им холодно, расчетливо: распорядилась его деньгами, его связями где и как только ей казалось это выгодным, – а он и не замечал этого». Любил ее, как любят, стоя одной ногой в могиле. Бенкендорф и умрет скоро, но прежде Амалия познакомит его с Тютчевым. Как раз за год до окончательного возвращения поэта в Россию. Факт сей не любят поминать биографы поэта, особенно – «советского разлива». Как не любят поминать его слова о шефе жандармов, об этой, казалось бы, самой зловещей фигуре эпохи. «Это одна из лучших натур, – скажет о Бенкендорфе Тютчев, – которые когда-либо встречал... Вполне

добрый и честный человек». Для Тютчева, для цельной природы, это были не просто слова. И отгадку их надо искать не в поэзии поэта (простите тавтологию!) – в политике. В политике, как он сам ее понимал.

Тютчев тоже, надо сказать, понравился «ясноглазому» начальнику III отделения, тот даже пригласил его в свое имение Фаль под Ревелем. Погостить. Об этих пяти днях из жизни Тютчева сведений почти нет. Знаю, что оба говорили о маркизе де Кюстине. Поэт был тогда лично оскорблен словами Кюстина: «Каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране. Всегда полезно знать, что существует на свете государство, в котором невысказано счастье, ибо по самой своей природе человек не может быть счастлив без свободы...» Тот написал «про счастье» (опять – про счастье!) в модной на Западе, но запрещенной для русских книге «Россия в 1839 году». Тютчев, увидев в ней взгляд «сквозь призму ненависти, помноженной на невежество», горячо кинулся защищать родину. Там же, под Ревелем, выскажет Бенкендорфу и идею личного «проекта»: повернуть через немецкие газеты общественное мнение мира в пользу России. Начать, может, первую в мире «информационную войну» в прессе. Помня, что шеф жандармов в 1812-м командовал авангардом партизанского отряда, Тютчев и предложит начать «партизанскую войну в тылах европейской печати». Бенкендорф кинется с его идеей к царю, и уже тот повелит Тютчеву написать об этом записку на его имя. Смысл ее в том, что Священный союз, созданный в 1815-м, в том числе и с Германией, объединял лишь правительства Германии и России, а немецкая печать, задающая тон европейскому мнению, была полна слепой и неистовой вражды к России. Вот поэт и предложил свое посредничество между русским правительством и немецкой прессой. «Надо, – написал царю, – завязать прочные отношения с какой-нибудь из наиболее уважаемых газет Германии, обрести радетелей почтенных, заставляющих публику себя слушать и двинуться... к определенной цели». К какой? Да к прославлению державы! Первый «агент влияния» на Западе или, если хотите, – первый «пиарщик». Царь в ответ не только выплатит ему 6000 рублей (может, самый высокий в русской литературе гонорар!), но через два года после окончательного возвращения поэта в Россию, в 1846-м, назначит его чиновником особых поручений при канцлере. Самое то, как сказали бы ныне. Работа не требовала ежедневного присутствия, позволяла ездить в Европу, получать газеты без цензурных изъятий, чего не разрешалось даже губернаторам, и, наконец, давала жалованье в 1500 рублей – столько зарабатывал обер-прокурор Сената. Сравните: городничие получали от 300 до 450 рублей, а чиновники вообще 60–80 рублей в год. Впрочем, Эрнестина, жена, и это жалованье назовет «нищенским». Немка, что с нее возьмешь?!

Это, впрочем, будет еще. А пока, пришвартовавшись с семьей в Петербурге, Тютчевы остановятся в «Кулоне», отеле Ж.Кулона и Г.Клее, который стоял на месте нынешней «Европейской» (**С.-Петербург, Невский пр-т, 36**). Семье город понравится: «простая и непринужденная манера обращения», два раза в неделю – Итальянская опера и, «когда захотим» – Французский театр. Но деньги, деньги... Я ведь забыл сказать, что Эрнестина после свадьбы уплатила за поэта двадцать тысяч долга и взяла на обеспечение детей Тютчева от первого брака. Да и его взяла на «обеспечение», чего уж там! Короче, пришлось оставить многокомнатный номер в «Кулоне» и перебраться в меблированные комнаты г-жи Бенсон (**С.-Петербург, Английская наб., 12**). Не без удовольствия, думаю, переезжал сюда поэт, ибо рядом, в доме 10, был, помните, дворец Остермана.

Вернувшись, поэт немедленно с головой окунулся в светскую жизнь столицы. «Я редко возвращаюсь домой ранее двух часов утра», – напишет родителям. А Плетнев даже пожаловался на него Жуковскому: «Нет возможности поймать в квартире его, а еще мудренее заполучить к себе на квартиру...» Тютчев блистает на балах у Закревских, у графа, которого прозвали «чурбан-паша», и его красавицы-жены – той самой, кого Пушкин уже назвал «беззаконной кометой» (**С.-Петербург, Исаакиевская пл., 5**). Бывает на вечерах у Бобринских (**С.-Петер-**

бург, ул. Галерная, 58–60). Ночи просиживает в уютных комнатах князя В.Одоевского, знакомого по московской юности (**С.-Петербург, наб. Фонтанки, 37**), у «черноокой Россетти», Смирновой-Россет, в ее красном доме в два этажа (**С.-Петербург, наб. Мойки, 78**), наконец, в доме Бибиковой – у жены и дочери покойного Карамзина (**С.-Петербург, ул. Гагаринская, 16**). В этой последней квартире, под самой крышей ныне ветхого, но не утерявшего щегольства трехэтажного дома каждый вечер зажигались за огромным полукругом окна большая лампа, два стальных кенкета, и – в старые кресла выцветшего штофа усаживались и самые хорошенькие дамы столицы, и самые интересные люди. Тютчев не застал уже ни Пушкина, ни Лермонтова, но Жуковский, Гоголь, Вяземский, Мятлев, Ростопчина, та же Россет (в воскресенье собиралось до шестидесяти человек), наконец, душа этого «малого двора» – дочь историка Софья Карамзина, – все не раз слышали здесь тютчевские остроты и колкости. «В обществе Карамзиных, – напишет Плетнев, – есть то, чего нигде почти нету: свобода». Впрочем, я, пытаюсь «заглянуть» за недреманное веко полукруглого окна под крышей, больше всего поражаюсь не свободе, не тому, что только здесь говорили по-русски, и не тому, что Софи сама разливала чай, за что ее звали «самовар-паша». Я забыть не мог, что там, за окном, капризных гостей угощали – знаете чем? – крохотными кусочками хлеба с маслом. И всё. Удивительно, не так ли? Не птифуры из Парижа, не пирожные – к первородному хлебу культуры там подавали просто первобытный хлеб. И «литература», кстати, считала, что ничего вкуснее этих тартинок не едала.

Но раскованней всего поэт вел себя у Вяземского, кого назовет «самым близким родственником». Бывал у него в разных домах (Вяземский сменил в городе больше десяти квартир), но завсегда, почти домочадцем князя стал, кажется, на Сергиевской (**С.-Петербург, ул. Чайковского, 21**). Оба были нетерпимы и здесь то ссорились (по поводу политики), то мирились (но уже на почве поэзии). Странно, но у «европейца» Вяземского, как подметил один общий знакомец, из-под французского покровы бил «русский ключ», а у «чисто русского» Тютчева – ключ немецкий. Недаром, прослушав статью друга «Россия и Революция», Вяземский тонко съязвит: с какого-де «перепугу» тот свято верит, что Константинополь вновь станет вдруг славянской столицей и начнет противостоять «безбожному революционному Западу»? А Тютчев, взвываясь до крика, бросал: «Я вижу, князь, что мне у вас делать нечего...» Дружба-вражда? Да нет – это ведь Вяземский назовет его даже не «златоустом» – «жемчужноустом». А после смерти Тютчева (князь переживет поэта на пять лет) скажет: «Он незаменим в нашем обществе...» Да, оба были из той, пушкинской еще эпохи, из Золотого века, из «утраченного рая» чести и благородства, в котором никто не смеялся над щепетильным аристократизмом или пламенным патриотизмом. Не было еще «реалистов» и хамоватых «разночинцев». Эти еще умели плакать от любви. И не только к женщинам. Тютчев скоро и расплачется от обиды за родину. Какой там «Лев сезона»? Рычащий лев России.

Может, оттого и искал высокого покровительства? Ведь, вернувшись в Петербург, почти сразу через «душевного друга» своего, великую княгиню Марию Николаевну, был представлен самой императрице. А потеряв благодетеля Бенкендорфа (тот в год возвращения Тютчева скончался), стал искать внимания Нессельроде, ставшего к тому времени канцлером, вторым после царя лицом в государстве. Удачу поймал почти за хвост как раз у Вяземского, тот жил тогда еще на Невском (**С.-Петербург, Невский пр-т, 60**), где неожиданно познакомился с женой канцлера – графиней Марией Нессельроде. Я уже бегло поминал, что он сойдется с ней. Так вот, это случилось у Вяземских. «Мы были четвером, – вспоминал об этом вечере Тютчев, – оба Вяземские, она и я, и разошлись только в три часа утра. Через день она пригласила меня к себе. Мне оказан был самый ласковый прием. Это весьма умная женщина и отменно любезная с теми, кто ей нравится...» Так почти сразу поэт стал членом страшно узкого круга избранных жены Нессельроде, статс-дамы, хозяйки «первого по значимости великосветского салона столицы» в огромной казенной квартире в здании Главного штаба, в той части его,

что выходила на Мойку (**С.-Петербург, наб. Мойки, 39/6**). Тютчев ведь был остроумен, а та, несмотря на свои шестьдесят, была ужасная хохотушка. Словом, неслучайно уже в марте 1845-го Тютчев был вновь причислен к Министерству иностранных дел, и ему было возвращено придворное звание камергера. А позже, в 1848-м, по ходатайству канцлерши перед мужем, а мужа – перед царем, получит и «чиновника особых поручений V класса», и должность старшего цензора при Особой канцелярии МИДа с окладом 2430 рублей. Более того, через год стал статским советником. Для «пустого человека» умопомрачительная карьера. За четыре года-то. Даже Эрнестина и та признается брату: «Наше положение в обществе таково, что ни о чем подобном я и мечтать не могла бы...»

Впрочем, глубинной души «льва России», убеждений его внешняя близость с сильными мира сего, кажется, не задевала. В сердце своем он знал им цену. Он ведь «в голос», говорят, разрыдается, когда узнает о поражении России в Крымской войне. «О, негодяи!» – напишет о «высшем обществе».

В Кронштадте навсегда ступил на родную землю. А ровно через десять лет, когда и грянет Крымская война, вдруг едко предскажет: «Я жду прибытия в Кронштадт милых англичан и французов, с их 4 тысячами орудий и всеми изобретениями современной филантропии, каковы удушливые бомбы и прочие заманчивые вещи...» Когда же, как и предсказал, флот врага и впрямь встанет в виду Кронштадта, он, как мальчишка, кинется на залив. «На петергофском молу, – напишет, – смотря в сторону заходящего солнца, я сказал себе, что там, в 15 верстах от дворца русского императора, стоит самый снаряженный флот, что это весь Запад пришел выказать свое отрицание России и преградить ей путь к будущему». «Теперь тебе не до стихов, о слово русское, родное!» – напишет в стихах. Какие уж тут стихи! Сто тысяч русских жизней унесет война, и, узнав о поражении, Тютчев и разрыдается. Он плакал, что пал Севастополь, а Нессельроде (повторяю – канцлер России!) поздравлял друзей с вновь открывшейся возможностью (по случаю окончания войны) отдыхать в Италии и развлекаться в Париже. «Если бы я не был так нищ, – напишет в ярости Тютчев, – с каким (наслаждением) я швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов». Деньги на жизнь разросшейся семьи нужны были – не то что стихи. Заметит тогда же нечто и про императора: «Нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и всё упустил...» И что после этих слов и компромиссы Тютчева, и расчеты, и поиск дружбы с сильными? Он вел поединок с Россией и за Россию! Поединок со светской чернью, презиравшей всё русское. Вот истинная цель его! Тайная, роковая дуэль с Европой.

Кстати, он, предсказавший Крымскую войну за пятнадцать лет, именно тогда, за сто лет до советских идеологов, назовет Запад «гнилым». «Я не без грусти расстался, – напишет Эрнестине, – с этим гнилым Западом, таким чистым и комфортабельным, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины». Метафоры не умирают. Он и слово «оттепель» пустит в оборот за столетие до Эренбурга. Так окрестит первые годы после смерти Николая I. «В истории обществ, – напишет, – существует роковой закон. Великие кризисы наступают не тогда, когда беззаконие доведено до предела, а при первой робкой попытке возврата к добру...» Любимое слово «роковой». «Роковой закон»! Знал, знал наперед, чем кончатся реформы, «оттепели», революции да «перестройки»...

Утраченный «рай»

Он никем никогда не командовал. Может, в этом счастье? Ни русскими армиями, на положение которых, случалось, влиял, ни политиками, хотя был известен на Западе, ни дворцовыми интригами, хотя был принят при дворах, ни подчиненными – их у него, кажется, и не было, ни даже родными детьми. Он командовал словами – вот и солдаты, и дипломаты, и даже дети его.

Семьи (а их, напомним, было четыре: две законные и две незаконные), дети от разных жен (их вообще было одиннадцать, не считая троих приемных) – всё это, пишут, было как-то мимо него. «Семья для него – заболевание хроническое, неизлечимое», – скажет Эрнестина. А Анна, дочь, даже упрекнет: «У тебя странная манера любить, ты никогда не испытываешь желания видеть моих сестер». «Это правда, – ответит он, – но они дети...» Разговор случится в очередной квартире поэта, в доме родственника его, полковника Сафонова, где Тютчевы проживут два года (**С.-Петербург, Марсово поле, 3**). Но здесь же, несмотря на всю «правдивость» его, они всей семьей принимали уже юную Лёлю – тайную влюбленность Тютчева, Елену Денисьеву, с которой он проживет четырнадцать лет и которая родит ему троих детей. И отсюда, из этого дома, уедет с «курьерской дачей» (по-нашему – с командировкой) в Германию, где познакомится с Гортензией Лапп, которая родит ему еще двух сыновей. Когда уж тут заниматься, «командовать» детьми? А из следующего дома (если не считать дома на Моховой, где Тютчевы проведут год, – **ул. Моховая, 39**), из знаменитого дома Лопатина, бездумно снесенного нами, где в разное время жили Тургенев, Гончаров, Григорович, Писарев, Некрасов, Панаев, Белинский, Кони, даже украинская писательница Марко Вовчок и где в 1850-м поселятся и Тютчевы (**С.-Петербург, Невский пр., 68**) – уедет в Париж. Поскачет «вестником войны и мира», командовать «словами», от которых в прямом смысле будет зависеть начало Крымской войны. Я не шучу. Повезет депеши, сообщавшие, что русской армии, в ответ на отказ Турции признать права православной церкви во владениях Порты, отдан приказ занять княжества Молдавию и Валахию. Эта акция и станет фактически началом войны 1853–1856 годов, а поэт – нарочным ее. Миссия окажется столь серьезной, что лишь после смерти поэта, когда откроют архивы, мы узнаем: вслед за Тютчевым из посольств Англии и Франции в Петербурге на Запад полетят шифровки встревоженных послов.

Из донесения посла Франции в России маркиза де Капельбажака: *«Русское правительство... направило в Париж г-на Тютчева... Это незадачливый дипломат, хотя он и состоит при русском министерстве, и к тому же литератор, педант и вместе с тем романтик... Как ни ничтожна опасность, которую может представлять для нас этот пустой мечтатель, прикажите всё же взять г-на Тютчева под наблюдение...»*

Да, командовал словами. И не только когда, как в люльки, «укладывал» их в стихи – командовал в любом разговоре: и в громком споре, и в «диванной беседе». «Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст, – вспоминал граф Соллогуб. – Ему были нужны, как воздух, каждый вечер яркий свет люстр и ламп, веселое шушанье дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких женщин... Но всё, всё исчезало, когда он начинал говорить... все умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева... Главной прелестью... было то, что... не было ничего приготовленного, выученного, придуманного». Понятно, почему за ним, как за мифическими сиренами, евангельскими апостолами или божественными старцами, семенили не шпики – вереницы умнейших людей.

Из воспоминаний Михаила Погодина: *«Низенький, худенький старичок... одетый небрежно, ни с одной пуговицей, застегнутой как надо, вот он входит в ярко освещенную залу; музыка гремит, бал кружится в самом разгаре... Старичок пробирается нетвердою поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла*

прищуренными глазами окидывает всё собрание... К нему подходит кто-то и заводит разговор... он отвечает отрывисто, сквозь зубы... смотрит рассеянно... кажется, ему уж скучно: не думает ли он уйти назад... Подошедший сообщает новость... слово за слово, его что-то задело... и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... Вот он роняет, сам не примечая, несколько выражений... несколько остроумных, которые тут же подслушиваются, передаются шепотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что сказал вчера на бале...»

И что с того, что за разговорами этими он забывал поесть (в Германии как-то рухнул в обморок из-за того, что не ел три дня), что вечно ходил лохматым, из-за чего Елена Павловна, великая княгиня, перестанет приглашать его в свой дворец, в нынешний Русский музей (**С.-Петербург, ул. Инженерная, 4/2**), что вдовствующей императрице по рассеянности трижды (!!!) забывал принести обещанную книжку. Зато его любили, да так, что посол в Мюнхене, где бедствовал когда-то Тютчев, предлагал министру увеличить ему жалованье за счет своей зарплаты. А женщины? Надо ли говорить, как обожали они его? И не за то, что «любил любовь», – за вечный повод женской любви: за остроумие, иронию, насмешку. Жаль, что великие остроумцы умирают вместе с великими остряками. Впрочем, иные колкости его до нас, к счастью, дошли. Он острил, например, что Нессельроде, начальник его, напоминает ему египетских богов, которые скрывались в овощах: «Чувствуешь, что внутри бог, – вещал с самым суровым видом, – но не видно ничего, кроме овоща»... Князя Горчакова, сменившего Нессельроде на посту министра, друга своего, обзывал то «нарцызом собственной чернильницы», то – «фасадом великого человека». А минутные увлечения свои, улыбаясь, звал «васильковыми дурачествами». Эта шутка так понравилась при дворе, что ее позаимствовал Николай I, большой ходок по женской части.

С «василькового дурачества» началась у Тютчева и «незаконная» закатная любовь его к пепиньерке Лёле Денисьевой. Не любовь – «роковой поединок». Кстати, четырнадцать лет, которые проживет с ней, он тоже назовет, как и жизнь с первой женой, «раем». Скажет в стихах: «А с тобой мне, как в раю». И как первую жену – потеряет ее.

Он был значительно старше ее. Ему было сорок два, ей двадцать. Стройная, изящная брюнетка с большими черными глазами и милым, выразительным лицом, она годилась ему в дочери. Кстати, «пепиньерка» по-французски – «хозяйка рассады», так звали девиц из Смольного института, которые при выпуске соглашались присматривать за девочками из младших классов. Лёля и сама недавно была «смоляночкой»: вставала по колоколу, обливалась ледяной водой, оттеняла клюквенным соком щеки. Теперь же – приглядывала за двумя дочерьми Тютчева, которых он пристроил в институт. Там-то, в дортуарах института благородных девиц, он и «высмотрел» ее (**С.-Петербург, Смольный проезд, 1**). С ней, которая вся «была соткана из противоречий», готовая на «попрание всех условий», всё началось с флирта, но две стихии, два незаконных сердца столкнутся так, что искры из глаз! Поэту, чьи жены были «отшлифованными иностранками», может, впервые попался русский характер: прямой, искренний, жертвенный, безоглядный. Вот поединок-то! От умозрительных его вопросов, есть ли счастье, оно ли цель, эта девочка не оставит камня на камне. Вернее, оставит, и как раз на камне – след на кирпичной печке от увесистого пресс-папье...

Дочь дворянина, гусарского майора, исправника из Пензы, Елена жила с теткой, инспектрисой Смольного института, которую звала мамой. Сначала жили в служебных покоях института, а когда разразился скандал, тетка вынуждена была снять квартирку во дворе дома на Кирочной. Я нашел их дом, видел чью-то бедную герань за стеклами второго этажа этой дворовой пристройки (**С.-Петербург, ул. Кирочная, 14**). Да, когда о романе Тютчева узнали во дворцах и салонах, тетку без шума выгнали, а вокруг Лёли, которая и сама должна была стать фрейлиной, за которой ухаживали в свете, вмиг образовалась пустыня. Даже дочерей поэта

Дарью и Катю (обе идут на медали и получают их) едва не исключили из института. А отец Лёли, кавалер золотого оружия «За храбрость», увидев дочь на седьмом месяце беременности, чуть не вызвал Тютчева на дуэль. Зато они любили друг друга. Да как! Он, еще вчера написавший: «Я отжил свой век», пускается с ней в путешествие на Валаам. Пароход, ночная Ладога, какой-то монастырь, где в пять утра они были на ранней службе, жизнь в кельях, монашеская уха – всё было новой, незнакомой ему любовью.

Догадывалась ли о романе жена? Знала – вот трагедия! Сначала видела в юной девочке «полезный громоотвод» от «опасных красавиц света», а потом – взвыла. Читать их письма и знать ситуацию – непросто. Он едет на Валаам, а Эрнестина будто бы спокойно пишет Вяземскому: «Пытаясь обмануть свою потребность в перемене мест, он две недели разъезжал между Петербургом и Павловском. Он нанял себе комнату возле вокзала и несколько раз оставался там ночевать, но мне кажется, что с этим развлечением уже покончено и теперь мы перейдем к чему-нибудь новому. Я слышу разговоры о поездке на Ладожское озеро, которая продлится четыре дня, потом он, вероятно, отправится в Москву, чтобы повидаться с матерью, а там наступит осень, и все встанет на свои места...» Ну-ну! Знала бы она, что «это развлечение» затянется на годы. 20 мая 1851-го, через девять месяцев после вольной ухи, ночевок в каютах и кельях, Лёля родит поэту первую дочь. А он через месяц как ни в чем не бывало напишет жене, «кисаньке», как звал ее: «Что же произошло в глубине твоего сердца, что ты стала сомневаться во мне, перестала чувствовать, что ты для меня – *всё*, и что сравнительно с тобою всё остальное – ничто? Я завтра же, если это будет возможно, выеду к тебе. Не только в Овстуг, я поеду, если потребуется, хоть в Китай, чтобы узнать у тебя... не воображаешь ли ты случайно, что я могу жить при наличии такого сомнения...» Никуда, конечно, не поедет, да и пишет ей из Москвы, из комнат Шевалдышева (**Москва, ул. Тверская, 12**), где жил вместе с Лёлей и девочкой-младенцем, которую, по ее настоянию, записали Тютчевой. Лёле пишет любовные стихи – и сколько! Но ведь и жену забрасывает любовной «прозой»: «Ты... самое лучшее из всего, что известно мне в мире...»; «Сейчас пять часов утра... Чего только не отдал бы я за то, чтобы оказаться возле тебя и проснуться утром в комнате рядом с твоей...» Да, Эрнестина была для него «всем», но и Лёля была уже «всею жизнью». А стихи! Какие стихи он пишет ей! Но почти в каждом, лбом о стену – слово «рок». «Нет – в минуту роковую...», «При нашей встрече роковой...», «И только роковые дни...», «И, как страданье, роковой...», «Сольются с бездной роковой...» Наконец, классика, вершина: «Любовь, любовь – гласит преданье – // Союз души с душой родной – // Их съединенье, сочетанье, // И роковое их слиянье, // И... поединок роковой...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.